

18+

АЛЕКСАНДР ТИНЯКОВ

Роман Сенчин

ЧЕЛОВЕК И ПЕРСОНАЖ

СЕРИЯ “ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ”

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Table of Contents

[Annotation](#)

[Роман Сенчин Александр Тиняков: Человек и персонаж](#)

[Предисловие](#)

[Часть первая Человек](#)

[Слава будням](#)

[Цивилизация](#)

[Весна](#)

[Единое](#)

[Я судьбу свою горькую, мрачную](#)

[Долой Христа!](#)

[Часть вторая Персонаж](#)

[Житьишко](#)

[Моление о пище](#)

[Краткий список персонажей](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)

[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)

Annotation

Роман Сенчин – прозаик, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже».

«Воскреснуть в литературе – такое же чудо, как и в реальной жизни. Чудо произошло с тем, кто, казалось, был забыт прочно и навсегда, кто писал о себе: „судьба неудачника отяготела надо мною и, вероятно, я не только не добьюсь известности и успеха, но погибну безвременно от голода и нищеты“. Теперь этот человек на слуху. На него возникла чуть ли не мода. Евгений Евтушенко посвятил ему стихотворение, в котором назвал „недопроклятым“. Зовут этого „недопроклятого“ Александр Иванович Тиняков». (Роман Сенчин)

- Роман Сенчин
 - o
 - o Предисловие
 - o Часть первая
 - o Часть вторая
 - o Краткий список персонажей
- notes
 - o 1
 - o 2
 - o 3
 - o 4
 - o 5
 - o 6
 - o 7
 - o 8
 - o 9
 - o 10
 - o 11
 - o 12
 - o 13
 - o 14
 - o 15
 - o 16
 - o 17
 - o 18
 - o 19
 - o 20
 - o 21
 - o 22
 - o 23
 - o 24

- o 25
- o 26
- o 27
- o 28
- o 29
- o 30
- o 31
- o 32
- o 33
- o 34
- o 35
- o 36
- o 37
- o 38
- o 39
- o 40
- o 41
- o 42
- o 43
- o 44
- o 45
- o 46
- o 47
- o 48
- o 49
- o 50
- o 51
- o 52
- o 53
- o 54
- o 55
- o 56
- o 57
- o 58
- o 59
- o 60
- o 61
- o 62
- o 63
- o 64
- o 65
- o 66
- o 67
- o 68
- o 69

- о 70
 - о 71
 - о 72
 - о 73
 - о 74
 - о 75
 - о 76
 - о 77
-

Роман Сенчин

Александр Тиняков: Человек и персонаж

© Сенчин Р.В.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление.

© ООО «Издательство АСТ».

Автор идеи Майя Кучерская

На переплете фото А.И.Тинякова, предоставленное ФГБУН Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук

Предисловие

*Это малоприятный рассказ
не про маменькиного сыночка,
а о жизни «маленького плевочка»,
как себя окрестил
недопроклятый русский поэт...
Евгений Евтушенко*

Писатель больше всего боится забвения. Казалось бы, публикация произведений от этого уберегает, но это не так. Тысячи лет назад выбитые на камнях надписи скалывали, слова с пергамента соскабливали и смывали, писали новое, свое. Позже книги сжигали, и не только потому, что они вредны, – попросту печки топили, и в огонь летели последние экземпляры; а с увеличением тиражей и сжигать оказалось не надо – большинство книг, бумажных или цифровых, не

замечают. Совершенно. Почти всё тут же погружается в Лету. Вместе с именем автора.

По сути, из русской литературы мы читаем пусть золотые, драгоценные, но крупитцы. «Житие» протопопа Аввакума из XVII века, книги двух-трех авторов века XVIII, десятков двух XIX, десятков трех-четырех XX. Еще кое-кого знаем лишь по фамилии.

Серебряный век породил множество талантливых поэтов – живут в русской литературе считанные имена. Еще несколько появляются в антологиях, кто-то упоминается в статьях и монографиях через запятую... Время от времени литературоведы пытаются вернуть читателю очередного забытого сочинителя, издатели выпускают сборники стихов, но почти всегда это заканчивается неудачей: сочинитель вновь уходит в небытие.

Воскреснуть в литературе – такое же чудо, как и в реальной жизни.

Чудо произошло с тем, кто, казалось, был забыт прочно и навсегда, кто писал о себе в тридцать восемь лет от роду и за девять лет до смерти: «...к сожалению моему, судьба неудачника отяготела надо мною и, вероятно, я не только не добьюсь известности и успеха, но погибну безвременно от голода и нищеты. <...> Неудачником рожденный и в гроб должен сойти неудачником, не поведав о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив».

Человек, как говорится, предполагает, а Бог (или некие другие силы) располагает. И теперь этот человек на слуху. Более того, на него возникла чуть ли не мода. О нем пишут литературоведы и историки литературы, его лирические стихотворения, красиво оформив виньетками, выставляют на своих страницах в интернете девушки с нежной душой, а стихи иного рода – декаденты, панки, некрофилы, эзотерики наших дней.

Евгений Евтушенко не только включил его произведения в «Строфы века», но и посвятил ему свое стихотворение, в котором назвал «недопроклятым».

Зовут этого «недопроклятого» Александр Иванович Тиняков.

Интерес к нему возник в начале 1990-х, и не потому, вероятно, что тогда было многое рассекречено, стало доступно исследователям (получая не так давно в архивах и библиотеках его прижизненно изданные книги, рукописи, письма, материалы о нем, я видел, что большая часть их была затребована и в 1960–1980-е годы); нет, скорее всего, противоречивая фигура Тинякова, его необычная судьба оказались созвучны происходящему в ельцинский «переходный период», да и тому, что продолжает происходить сегодня.

«...О жизни Тинякова можно было бы написать увлекательный роман, особенно если бы о ней было известно лучше, чем нам сейчас», – предположил составитель и автор предисловия к первому после семидесятипятилетнего перерыва сборнику его стихотворений литературовед Николай Богомолов.

Замечу, для написания биографического романа не нужно особенно много материалов о жизни героя, но в общем полностью согласен: жизнь Александра Ивановича (это не фамильярность – его именем-отчеством назвал свой очерк, а вернее, по сути, рассказ Георгий Иванов) тянет на роман. Психологический, приключенческий, исторический, морализаторский... Героем (точнее, антигероем), правда не главным, его сделал не один писатель. Я попробую внести свою лепту – по возможности подробно покажу Александра Ивановича как человека и как персонажа. По-моему, далеко не во всем они схожи.

Часть первая

Человек

Орловская земля щедра на литераторов. Тургенев, Тютчев, Лесков, Фет, Апухтин, Якушкин, Писарев, Бунин, Зайцев, Пришвин, Андреев, Вольнов, Потёмкин, Блынский, Шорохов... Все красавцы, большинство – настоящие русские богатыри. Изумительные лирики и пейзажисты. И почти всех объединяют странные, с изломами, роковыми поступками судьбы, которые нельзя объяснить только изломами русской истории. Может быть, сама природа – мягкая, ласкающая глаз – порождает людей с непростым, скажем так, характером. Чтоб не было скучно...

Майя Кучерская начинает свою биографию Николая Лескова словами: «Лесков был человеком разорванным. Его постоянно „вело и корчило“, растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятьем, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и *аггелом*, праведниками и злодеями».

Биографию Тинякова можно начать так же.

И он был рожден лириком и пейзажистом. Правда, с первых же шагов на писательском поприще обратился к миру, казалось бы совершенно чуждому тому, в каком родился и рос, чуждому даже своей собственной природе, – обратился к декадентству. Смешно ведь – декадент из мужиков, Шарль Бодлер Мценского уезда. Но попытаемся понять.

Родился Александр Тиняков 13 (25 по новому стилю) ноября 1886 года в селе Богородицком того самого Мценского уезда Орловской губернии. Ныне это Свердловский район Орловской области. В районе два Богородицких; нужно нам – по переписи 2010 года в нем числилось двадцать пять жителей – стоит на реке Оптухе, впадающей в Оку. Природа классически русская: равнины, рощицы, овраги. Над всем этим – широкое поле неба.

Правда, в уголовном деле Тинякова, хранящемся в архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, местом его рождения указано село Становой Колодезь. Впрочем, это рядом, каких-то несколько километров.

В повести в документах «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи»^[1], давшей старт десяткам и десяткам статей о Тинякове, Вардван Варжапетян пишет: «Крестьянский сын, он и гордился и стыдился за мужицкое свое происхождение; выдавал себя то за нищего, то за наследника богатого орловского помещика, радовался, читая на конвертах „Его высокородию А.И.Тинякову“».

В утверждениях Тинякова, что он то из крестьян (подчеркну – государственных, а не крепостных), то нищий, то наследник богатого помещика, нет противоречия. Его род по отцу действительно был крестьянский. Но еще в 1860-х прадед купил первое имение (300 десятин земли), затем второе (600 десятин), третье, четвертое... Тиняковы были богатые помещики, но не дворянские, не купеческие, а именно крестьянские (кстати сказать, почти не освещенное литературой сословие, вернее, *социальная группа*). Порядки в таких имениях царили отнюдь не аристократические. (В скобках замечу: в полном собрании сочинений Льва Толстого Александр обозначен как «шестнадцатилетний сын купца, церковного старосты»^[2].)

Отец время от времени лишал непутевого, оторвавшегося от их среды сына наследства, не высылал денег, и тот превращался в нищего, выпрашивающего у знакомых дворян-литераторов поношенные костюмы. Потом прощал, и Тиняков превращался в наследника громадного состояния.

Дальше я буду периодически цитировать «Отрывки из моей биографии» (так, с высокомерной скромностью, назвал семь листочков из школьной тетради в клеточку, ныне хранящихся в Пушкинском Доме, сам Тиняков), написанные в апреле 1925 года по просьбе библиографа Петра Васильевича Быкова. Этот документ до сих пор является, в общем-то, единственным источником сведений о детстве и отрочестве нашего героя.

Род Тиняковых на Орловщине известный. Дед поэта Максим Александрович был фигурой поистине знаменитой: богач, жертвователю на строительство храмов, настоящий образец главы патриархального семейства^[3]. Жители Станового Колодезя даже отлили его бюст, который пропал после революции.

В семействе Тиняковых кипели нешуточные страсти. Вот что вспоминал Александр Иванович в своих «Отрывках...»:

Всех своих многочисленных сыновей и замужних дочерей, а также и внуков, он (Максим Александрович. – *Р.С.*) держал в полном у себя подчинении. Помню, как в 1897 г. по его настоянию его старшая внучка, моя кузина, вышла замуж за нелюбимого человека. Таких слез, какие проливала она, – да и почти все ее близкие, – перед этой свадьбой, я не видал и на похоронах. Эта самая кузина была моей

первой страстной любовью: у меня до сих пор целая ее карточка с надписью от 1893 г. (мне шел тогда 7-й год).

На мою жизнь дед пытался повлиять только однажды – в 1897 г., когда отец решил отдать меня в гимназию. Дед решительно воспротивился. Но и отец, во всем ему подчинявшийся, на этот раз настоял на своем.

Теперь я думаю, что дедушка был по существу прав. О моих психических особенностях, в частности о моих литературных способностях он, конечно, тогда знать не мог, а среднего ребенка из такой патриархальной крестьянско-кулацкой среды отдавать в гимназию безусловно не следовало, так как для того, чтобы вести хозяйство и торговлю и выжимать из крестьян пот, вовсе не нужно знать ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрию, ни русскую литературу. Дедушка был мудро последователен, а отец проявил здесь очень нездоровый уклон, разросшийся впоследствии до того, что он даже и дочерей не только отдал в гимназию, но и отпустил их потом на высшие женские курсы, правда – не без борьбы. Это я считаю явным признаком разложения праведной патриархальной жизни.

Предки моей матери происходили из мещан г. Орла. Дед с материнской стороны – Лука Федорович Позднеев († 1895) также был человеком выдающимся. Не получив никакого образования, он играл видную общественную роль в городе, в 1881 г. был в числе депутатов, поздравлявших императора Александра III с восшествием на престол, принимал у себя на дому архиереев и губернаторов. С семейными он также обращался деспотически. Его старший сын отравился, потому что дед мой не позволил ему жениться на любимой девушке. Хотя этого моего деда я не люблю, но в данном случае считаю его правым, а к памяти моего дяди-самоубийцы отношусь с величайшим отвращением, хотя я и никогда не видал его, т. к. в год его самоубийства мне не было еще года от роду.

Отец мой – Иван Максимович († 1921) унаследовал от деда его коммерческие способности и до значительной степени его властный, крутой характер. Но дедовской силы в нем все же не было. Надо, впрочем, сознаться, что и внутренние жизненные условия, выпавшие на его долю, оказались значительно тяжелее, чем те, среди которых жил дед.

Дед был женат на крестьянке из родного села; она нарожала ему здоровых, грубоватых ребят и до глубокой старости († 1906) хлопотала по хозяйству, следила за каждой тряпкой и щепкой, за каждым куриным яйцом и грошом.

Отец же мой женился на горожанке, взятой из семьи состоятельной и на вид почтенной, но уже тронутой вырождением. <...> Мать моя – Мария Лукинична († 1919) также не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена. Но ее выдали замуж за грубого, земного,

напористого человека, соединили огонь и лед, и – в результате – еще одна патриархальная русская семья оказалась подточенной изнутри.

Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь Откомхозом, и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши-ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники...

Было бы долго рассказывать здесь о моих семейных отношениях, о моей борьбе с отцом, закончившейся только с его смертью, о моих детских и юношеских впечатлениях. Это – тема для целого романа, и, если б я выбился когда-нибудь из невероятной нищеты, я написал бы его.

Вот из такой среды вышел один из самых колоритных персонажей Серебряного века.

* * *

«Писать прозой» Тиняков начал еще до поступления в гимназию; первые стихи сочинил в пятнадцать лет. В конце 1902 года бросил орловскую гимназию, где одним из преподавателей был уже тогда известный литератор Федор Крюков (некоторые исследователи приписывают ему авторство первой книги «Тихого Дона»), и впервые серьезно рассорился с родителями.

Кстати, об учебе в гимназии Александра Тинякова (или очень похожего на него юноши) можно узнать из повести «Картинки школьной жизни» Крюкова, которая была не так давно переиздана. По версии И.В.Самариной, Тиняков стал прототипом главного героя – Петра Кривцова^[4]. С этим сложно не согласиться:

Он (Кривцов. – *Р.С.*) занял место в самом отдаленном углу «камчатки», и на стене, как раз над его головою, красовалась крупная надпись чернилами:

Сверхчеловек
Петр Иванович Кривцов
Одинокий! <...>

На уроках он скучал до отчаяния, зато издавал совместно с некоторыми семиклассниками журнал «Лучи Зари», а в пансионе выпускал раз в

неделю газету «Пансионские Известия». Этим литературным опытом он посвящал большую часть своего времени. Гулял мало, перестал ухаживать за гимназистками и позволял себе «развлекаться» только в классе. <...>

Весь персонал инспекции и большинство учителей считали теперь Сверхчеловека «заразой» класса и даже всей гимназии. Он, с своей стороны, проклинал это заведение, громил его в своих журнальных статьях, издевался и мечтал, как о высшем празднике, о том дне, когда он расстанется с «мертвым домом».

Действительно, в бумагах Тинякова есть списки содержания рукописного журнала «Лучи Зари» с августа 1903 по май 1904-го. Выпускал он в 1902–1903 годах и журнал «Школьные досуги» – сейчас переплетенные восемь номеров его хранятся в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С.Тургенева.

Что делал шестнадцатилетний Александр Иванович несколько месяцев после того как бросил учебу, где жил, практически неизвестно. Осталось очень мало документов. Например, коротенькое письмо Зинаиды Гиппиус, датированное 2 мая 1903 года, извещающее, что стихи Тинякова не могут быть напечатаны в журнале «Новый путь».

Еще один документ – письмо Тинякова Льву Толстому от 17 сентября 1903-го, отправленное из Орловской губернии:

Я был у Вас в Ясной Поляне в январе, когда Вы были больны. В ответ на мое письмо Вы ответили мне коротенькой запиской, в которой, между прочим, не советовали разрываться с родителями. Вы дали этот совет, не зная меня и моих обстоятельств, но тем не менее мне тогда же пришлось последовать ему. Я возвратился в семью и даже в гимназию.

Письмо Толстого, на которое ссылается Тиняков, неизвестно. В своем рассказе «Дедушка», опубликованном в журнале «Урал» (2017, № 1), я попытался представить последние часы жизни Александра Ивановича, его воспоминания о детстве, юности, мысленное раскаяние перед дедом Максимом Александровичем (умершим в переломном для нашего героя 1903-м), и сочинил фрагмент того пропавшего письма Толстого.

Забавно, что теперь этот фрагмент можно встретить в интернете в некоторых очерках о Тинякове, представленный как подлинный документ...

Дошедшее до нас послание Толстому Александр отправил через несколько дней после своего литературного дебюта: 14 сентября в «Орловском вестнике» было напечатано стихотворение в прозе «Последняя песня» за подписью «Одинокий».

Первые публикации Тинякова-Одинокого были в надсоновско-декадентском ключе:

Но писал он и другое:

В 1904-м поэтические опыты Тинякова опубликованы в московском альманахе «Гриф», затем стихотворения печатались в «Весах», «Золотом руне», «Перевале», «Голосе жизни», «Аполлоне». В конце 1904 года Тиняков посылает своему знаменитому земляку Ивану

Бунину подборку для журнала «Правда» и вскоре получает сердитый, но честный ответ:

...А кое-что мне прямо не нравится - как напр<имер> стих<отворение> «Мертв<енно>-бледн<ые> крылья»... с его «скорпионовскими» выкрутасами в роде какой-то «свечи» в какой-то совершенно для меня непонятной «Заброшенной» дали, написанной почему-то с больш<ой> буквы, и мелких декадентских новшеств, состоящих в употреблении во множеств<енном> числе таких слов, как «шум», «дым», и т. д.

Впрочем, некоторое время Бунин не терял надежды сделать из Тинякова реалиста. Но и автором «Скорпиона», возглавляемого главным символистом России Валерием Брюсовым, Александр Иванович не стал (в отличие от Бунина). Отношение Брюсова к Тинякову вообще странное: несколько лет он давал молодому последователю надежду на издание книги, обещал протекции и печатные отзывы о его стихах, но ничего не сделал.

Может быть, причина в том, что Тиняков публиковался на страницах главного конкурента «Скорпиона» в Москве - альманаха «Гриф»? Не исключено, что Александр Иванович, столь приятный честолюбию Брюсова как его последователь, был все-таки поэтом (по крайней мере в то время) более чем посредственным, и мэтр не хотел «мараться» похвалами. А может, корень публичного молчания Брюсова о Тинякове - любовный треугольник: Брюсов - Нина Петровская - поэт Одинокый. («Не целуйся с Одиноким», - просил Валерий Яковлевич в одном из писем.)

Нине Петровской Тиняков посвятил такой акrostих:

На	пажити	земли	всецедрая	Гатора
Из	глубины	своей	Тебя	послала
Над	пасмурной	страной	- Ты	луч
Алтарь	любви	живой	и	вечной
				страсти
				храм.

Пленительны	твои	загадочные	очи,
Елеем	нежности	смирняя	волны
Ты	проясняешь	в	нас
			заветную
			лазурь,

Рассветною	зарей	встаешь	над	скорбью	ночи.
Огнеподобный	взор	Твой	ярок,	жгуч	и
В	душе	Твоей	всегда	звонит	волшебный
Сзывая	всех	к	Тебе	на	праздник
					поклоненья.

Кругом	и	тень,	и	мрак,	и	мертвые	слова,
А	Ты	стоишь,		светясь,		Улыбка	Божества,

Являя на Земле Гаторы воплощенье.

Вскоре после выхода первой тиняковской книги «Navis nigra» («Черный корабль», «Черная ладья») в 1912 году, на которую Брюсов, вопреки обещанию, не отреагировал ни рецензией, ни хотя бы несколькими словами в печати, их отношения практически сошли на нет. В 1915-м в письме Владиславу Ходасевичу герой нашей книги напрямую называет своего учителя «бездарным».

* * *

О жизни Тинякова до 1912 года сведения скудные. Аккуратные подписи к стихотворениям показывают, что он много ездит. Москва, Орел, Богородицкое, село Пирожково, Киев, деревня Кишкино, Самара, Брянск, Курск, Тула... Несколько стихотворений апреля 1906 года подписаны «Орел, тюрьма, камера № 81». За что он попал за решетку – доподлинно неизвестно. Позже Тиняков намекал на свою революционную деятельность.

Вполне революционные стихи можно отыскать в его тетрадях той поры.

Тучи	сгустились.	Не	видно	ни	зги...
Громче	кричат,		торжествуя,		враги.
Мы	отступаем...		Уходим		назад,
Местью	священною		души		горят.
Тени	погибших	за	дело		святое
Вьются	над	нами	печальной		толпою.
Мы	отступаем,	но	снова		придем,
Песню	о	братьях	погибших		споем.
Ринемся	смело	мы	в бой	за	народ.
Жажда	Свободы	нас	в	путь	поведет.

Впрочем, следом идут *контрреволюционные*:

Не	вашими	кровавыми	руками
Престол	и	храм	свободе
Вы	были,	суть	и
Тюрьмой	вы	рождены	– и
Вам	суждено	в	цепях
Неведома	вам	страсти	благодать,
Дешевой	краской	выкрашено	знамя,
К	которому	вы	мните
		мир	собрать...

И все же больше – о любовной тоске, о грусти, о природе. В стихотворениях, не изданных при жизни или не вошедших в первую и вторую книги, почти нет декадентства, зато много пушкинских, некрасовских, фетовских мотивов. Может быть, Тиняков их стеснялся, считая себя символистом?.. Наверное.

Но вот – хорошо же, проникновенно:

В	полутемной,	тесной	горенке
Шьет	швея	с	утра
Шьет	ней	ребенок	мальчик
Бледный,	тихенький,	как	тень
Он	в	углу	сидит
Но	не	видит	их
И	за	беленькими	мушками
Робко	тянется	в	окно.

Взор	туманится	слезинкою...
Стук	машинки...	Мать
Он	растает	чистой
В	дни,	когда
		придет
		весна.

Отношения с родителями то налаживаются (первую книгу, кстати сказать, Тиняков издаст на средства отца), то портятся. (Рассказ Александра Ивановича, что отец выгнал его из дому за роман с мачехой, – явная выдумка: отец и родня непутевого отпрыска принимали, никакой мачехи у него не было. Но сюжет заманчивый, попал в воспоминания Ходасевича, в очерк Евгения Евтушенко и кочует из одной интернет-статьи в другую.)

В автобиографии Тинякова это десятилетие уместилось в коротенький абзац:

С 1903 по 1912 г. я проводил часть времени в Москве и Орле, часть в имении своего отца или в имении дяди Михаила Максимовича († 1917 г.) (когда отношения с отцом особенно обострялись и он переставал высылать мне деньги).

Портрет Тинякова 1900-х – начала 1910-х можно найти в письме Ходасевича Борису Садовскому от 22 апреля 1916 года:

Тиняков – паразит, не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не только животные. На моем веку он обвивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с

Вами. Он был эс-эром, когда я с ним познакомился, в начале 1905 г. Потом был правым по Брюсову, потом черносотенцем, потом благородным прогрессистом, потом опять черносотенцем (уход из Северных записок), потом кадетом (Речь). Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды. Эта способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. Меня лично иной раз от этого и подташнивало, но меня и от Раскольникова иной раз рвет.

Это написано в разгар так называемой *тиняковской истории*, речь о которой впереди и в которой Ходасевич занял позицию Садовского. Поэтому характеристика Тинякова резка, хотя упоминание о метаниях от эсеров к монархистам, от черносотенцев к кадетам справедливо. Александр Иванович будет метаться еще не раз.

Впрочем, до 1916 года Тинякова и Ходасевича будут связывать почти (или вполне) дружеские отношения. Сохранилось довольно много писем к нему Ходасевича (переписка продолжалась с 1907-го по 1915-й), и в них ни намек на то, что для Владислава Фелициановича Тиняков нуль или паразит. Наоборот. В письмах Ходасевича постоянно встречается «любящий Вас», «дорогой», «сердечно Ваш», «позвольте дружески пожать Вашу руку».

Они – ровесники, начинающие поэты – критикуют мэтров, обмениваются своими опытами, делают друг другу замечания и дают советы, которые и тот и другой нередко принимают. Так что в некоторых стихотворениях Ходасевича есть толика Тинякова. И наоборот.

* * *

Томик «Navis nigra. Стихи 1905–1912 гг.» герой нашей книги собирал тщательно и долго. Советовался со своим учителем Брюсовым, что засвидетельствовано в письме Валерия Яковлевича, написанном за два года до выхода сборника:

...Среди стихотворений, собранных Вами на «Черном корабле», есть несколько очень удачных. Два основных Ваших недостатка: пристрастие к хитрым рифмам и пристрастие к слишком страшным темам. От того и другого освободиться можно. Два основных достоинства Ваших стихов: ясность, четкость образов и мелодичность стиха.

От «пристрастия к слишком страшным темам» Тиняков, как мы увидим, освободиться не захотел или не смог. Изменилось качество выражения этих «страшных тем». Правда, произойдет это много позже...

Здесь я снова обращаюсь к Владиславу Ходасевичу, так как других свидетельств условно московского периода жизни Тинякова (хотя в Москве он появлялся наездами), в отличие от петербургско-петроградско-ленинградского, почти нет.

Вот что вспоминает Ходасевич в очерке «Неудачники», написанном в 1935-м:

В 1904 году в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокый», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого, впрочем, не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то – «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уж не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он – сын богача-помещика, непробудного пьяницы и к тому же скряги. <...> Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподымая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота.

Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая суждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях – и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал готовить первую книжку своих стихов, и чем больше по виду смиренничал, тем жгучее в нем разгоралась надежда, что с

выходом книги судьба его разом, по волшебству, изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Навис нигер» – и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис нигра». К предстоящему выходу книги готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга...» Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще. Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним (впрочем, и псевдоним был указан. – *Р.С.*): должно быть, затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной^[5].

Но готовил Александр Иванович книгу слишком долго – она вышла в год, когда читателей увлек только что народившийся акмеизм, когда критики ругались из-за будетлян и эгофутуристов. Запоздалого символиста Тинякова, которому тогда исполнилось двадцать шесть, почти не заметили. «Всегдашние дети вчерашнего дня», – охарактеризовал собранное в «*Navis nigra*» Николай Гумилев. Мешали выпустить книгу раньше не только строгость автора к своим произведениям, но и обстоятельства жизни. Вот из тетради Тинякова со стихами и рабочими записями 1909–1912 годов (сохранившиеся тетради допетербургского периода хранятся в Государственном музее И.С.Тургенева в Орле; некоторые страницы выложены на сайте музея):

В половине июля 1910 г. я тяжело заболел, и моя литературная деятельность возобновилась лишь в январе 1911 г.; к очень большому для меня сожалению, тетрадь от 1 янв. 1910 г. с переписанными набело стихами пропала во время моих скитаний по больницам, но, к счастью, у меня остались черновики почти всех моих стихотворений. Убедившись теперь, что чистовой тетради мне не вернуть, я решил по черновикам восстановить все наиболее значительные стихи и собрать их здесь, переписав по порядку. Что касается последних стихов 1909 г., то сделать это было очень легко, т. к. сохранилась библиографическая запись о порядке их написания. О стихах 1910 г. такой записи не сохранилось, и пришлось разбираться в массе черновиков...

Может, и отец не давал достаточную для издания книги сумму... Издаваться за свой счет или за счет меценатов было популярно в России. Особенного расцвета этот способ донести свои произведения до

читателя достиг в Серебряном веке. Причем в первую очередь среди стихотворцев. Тоненькие книжки стихов заполнили магазины, их пытались продавать на улице, как пирожки и папиросы, на творческих вечерах... Россию часто называют страной поэтов, и в 1900–1910-х они, кажется, впервые действительно явились массово (или, вернее, массою). Все не только сочиняли стихи, но и стремились их опубликовать, издать книжку, прочитать со сцены.

Многие будущие классики Серебряного века начинали с книжек за свой счет. Брюсов, Игорь Северянин, Цветаева, тот же Гумилев. Ну и большая часть тех, кто вроде бы не оставил следа. Таких были сотни и сотни. Достаточно заглянуть в книгу Николая Гумилева «Письма о русской поэзии», чтобы убедиться, что происходило тогда в литературе. Среди этих сотен и сотен книжек дебютный сборник Тинякова «Navis nigra» не остался незамеченным. На него отозвались. Но об отзывах позже.

* * *

Итак, что же представляет из себя первая книга Александра Ивановича?^[6]

Это семь десятков стихотворений и одна «лирическая поэма» «Разлука», поделенные на шесть частей («Тропинкою любви», «Природа», «Всепримирение», «Morituri»^[7], «Славословия», «Цветочки с пустыря») и «Заключение».

Каждая часть воспринимается мной как или отличный, или интересный сборник (цикл), но в целом книга производит почти комическое впечатление. Автор явно постарался написать обо всем. О любви и природе (чуть ли не ежемесячно), о смерти, богах и героях древнего мира, заглянуть на свалку и в выгребную яму. И получаются этакие сочинения на заданные темы – пусть заданные самим автором, но тем не менее. Возникла у автора цель всё охватить, всё описать, и вот результат. Вызывающий то, что принято нынче называть испанским стыдом.

И нельзя не отметить обилие посвящений и эпиграфов. Чуть ли не четверть стихотворений предваряют эпиграфы из Брюсова, Бальмонта, Достоевского, Сологуба, Баратынского, Данте, Эдгара По. Причем некоторые – любовные. Вот эпиграф: «Шесть тонких гильз с бездымным порохом. В.Брюсов» – и понеслось с этой же брюсовской строчки:

«Шесть	тонких	гильз	с	бездымным	порохом»
Вложив		в	блестящий		барабан,
Отдернул	штору		с	тихим	шорохом,
Взглянул	на	улицу		в	туман.
Так	ветер		дьявольскими		пальцами
Качал		упорно			фонари,
Спешил	за	поздними			скитальцами
И	пел	одно:		«Умри!	умри!»

Все промелькнувшее, бесплодное
С внезапной дрожью вспомнил я,
И вот к виску дуло холодное
Прижалось нежно, как змея.

На золотом далеком куполе
Играл, дробясь, неясный луч, —
И пальцы – с трепетом – нащупали
К последней двери верный ключ.

Чего ж я медлю, замирающий?
И что мне скажут фонари?
Иль ветер, горестно рыдающий,
Не мне твердит: «Умри! умри!»

Неплохое стихотворение? По-моему, неплохое, есть и по-настоящему сильный момент: «И пальцы – с трепетом – нащупали / К последней двери верный ключ». И финал отличный. Но, спрашивается, зачем самоубийце вкладывать в револьверный барабан целых шесть «гильз»? Наверняка для того, чтоб соответствовать Брюсову. И перекличка с рассказом тиняковского земляка Леонида Андреева «В тумане», опубликованным еще в 1902 году, очевидна.

А вот абсолютно бодлеровское:

На весенней травке падаль...
Остеклевшими глазами
Смотрит в небо, тихо дышит,
Забеременев червями.

Жизни новой зарождение
Я приветствую с улыбкой,
И алеют, как цветочки,
Капли сукровицы липкой.

Немало и наивных, искусственных, непугающих страшилок. По сути, им отдана вся последняя часть сборника, посвященная «тени Ф.П.Карамазова».

Я – гад. Я все поганю
Дыханьем уст гнилых
И счастлив, если раню
Невинных и святых.

Любовь		и	благородство
Мне		любю	осквернять,
Я	лишь	свое	уродство
Могу		благословлять...	—

и так далее, и тому подобное.

Есть эстетство, тоже искусственное, нарочитое. Приведу первую строфу самого характерного из таких стихотворений:

В	стране	рыдающих	метелей,
Где	скорбь	цветет	и дышит страх,
Я	сплел	на мертвых	берегах
Венок	из	грустных	асфodelей...

Оно датировано октябрем 1908 года. Для того времени, наверное, было свежим, но в 1912-м вряд ли могло кого-нибудь удивить и тронуть.

Часть «Славословия» предваряет эпитафия, и, конечно же, из Брюсова: «И всем богам я посвящаю стих». И у Тинякова есть стихи, посвященные и древнему славянскому божеству Морене («Влагодь вечною, кристальною / Из груди своих напой, / Плащаницей погребальной, / Белоснежною, нетленной, / Тело тихо мне укрой...»), и индоиранскому Бушьянкте («В душе моей Ормузд и Ариман / Побеждены Бушьянктою-даэвом. / Смотрю на мир сквозь призрачный туман, / Забыв про жизнь с ее грозой и гневом...»), и первой жене Адама демонице Лилит («Умирают земные надежды, / Тает медленным облаком стыд, / Вожделием вспыхнули вежды, — / И опять предо мною Лилит!..»), и американскому богу-пауку Миктлантекутли («Приходят в мир нагие дети, / Не зная, чем их встретит мир, / Не зная, что тугие сети / Плетет для них Паук-вампир...»)

Лучшими в книге «Navis nigra» я считаю лирические — любовные и пейзажные — стихотворения, рассыпанные по разным ее частям.

А это, «В амбаре», по-моему, так и вовсе замечательное, какое-то архаусное:

Под	нами	золотые	зёрна,
В	углах	мышей	писк,
А	в	наших	непокорно
Возносит	похоть	жгучий	диск.

Нам	близок	ад	и	близко	небо,
Восторг	наш	хлещёт		за	предел,
И	дерзко	вдавлен	в	груды	хлеба

Кстати, наверное, будет здесь такой эпизод. Году в 1998-м или 1999-м, в любом случае вскоре после выхода книги Тинякова, подготовленной Николаем Богомоловым, я спросил нашего литинститутского преподавателя русской литературы начала XX века Владимира

Павловича Смирнова о Тинякове. Владимир Павлович поморщился и ответил в том духе, что в Серебряном веке было много разных персонажей, был и Тиняков, и вот теперь нашлись энтузиасты (это слово он произнес почти с отвращением), которые пытаются его вернуть. И прочитал по памяти несколько строк как раз из этого стихотворения. «Любо мне, плевку-плевочку...»

* * *

В «Navis nigra» Александр Иванович хотел выступить не только как практик (стихослагатель), но и как теоретик (ну или указать на теории, примененные в работе над книгой). Им было написано предисловие, которое, правда, то ли он сам, то ли издатель в книгу не включил. А оно любопытно.

Из множества теорий, созданных модернистами различных направлений, – выгодно выделяется своею стройностью и глубиной теория Научной Поэзии, разработанная Рене Гилем.

Она не только открывает перед поэзией сокровищницу новых тем и новых слов, она совершает истинный и давно назревший переворот в области поэзии, заставляя ее разорвать связь с религией и заключить союз с наукой.

Не удивительно, что последователями этой теории являются наиболее крупные таланты и наиболее широкие умы наших дней: Э.Верхарн и Рони, Р.Аркос и Ж.Дюамель – во французской литературе, Валерий Брюсов и отчасти К.Бальмонт – у нас. <...>

Эта книга является отражением пути, пройденного мною по направлению от мутных истоков эготической поэзии к широкому и чистому морю поэзии научной. Лишь в последних по времени стихах мне удалось овладеть пафосом научной мысли и сбросить цепи субъективных настроений. <...>

В заключение мне остается сказать, что – располагая стихи в своей книге, я старался следовать закону, установленному Валерием Брюсовым в предисловии к «Urbi et Orbi»; только в отделе «Славословия» я счел нужным удержать хронологический порядок.

25 января, 1912 г.

Одинокий

с. Пирожково Орл. губ.

Пройдет года три-четыре, и Тиняков, оставив в прошлом псевдоним Одинокий, будет страстно критиковать Брюсова и *научную поэзию*.

А вот авторские примечания, а вернее пояснения к некоторым стихотворениям, ни автор, ни издатель из верстки не выкинули, и

пояснения эти выглядят и комично, и даже оскорбительно для читателя, считающего себя образованным.

Приведу одно из стихотворений, а потом примечание-объяснение к нему.

Ты	-	голгофа,	Реканати!
В	тишине	твоей	страдал
И	без	жалоб,	без
Леопарди			проклятий
			угасал...

Здесь	-	горбун,	бедняк	и	Гений,
Встретясь		с	женской		красотой,
Полон		тягостных			мучений,
Бил	о	стену			головой.

От		скупой		Аделаиды,
Что	ценила	лишь		гроши,
Здесь		несчетные		обиды
Принимал		поэт	в	тиши.

И,	проживши	век	свой	в	морге,
Он		недаром			воскресил
То,	что	древле	на		Аморге
Симонид					провозгласил.

Встреча	с	ветреной	Тоццели,
Как		нежданная	весна,
Возрастила			асфодели
В	бедном	сердце	горбуна.

Но	жестокой	ножкой	Фани
Смяла		бедные	цветы,
И	остался	он	в
Без	любви	и	без
			мечты.

Он	прошел	под	гнетом	горя,
Безнадежной		скорбью		пьян,
Презирая		и	не	споря,
Тих	и	грустен,	как	Тристан...

Мы	ни	жалоб,	ни	проклятий
Не	услышали		с	креста...
Помни	ж,	тихий	Реканати,	—
Пыль	руин	твоих		свята!

Примечание: Реканати – маленький городок в Апеннинах – родина Д.Леопарди (1798–1837). Литература о Леопарди на всех европейских языках весьма значительна. Можно назвать несколько устаревшую книгу Ликурго Каппеллетти «Saggio di una bibliographia Leopardiana» (Пама, 1892), – как пособие для изучения поэта. С 1898 г., со дня столетнего юбилея Леопарди, – литература о нем значительно возросла. Русские работы о Леопарди – общеизвестны. В 4-й строфе я говорю об известной сатирической поэме Симонида Аморгского, направленной против дурных женщин, которую Леопарди перевел и напечатал в миланском «Nuovo Ricoglitore». – Тристан – действующее лицо в диалоге поэта «Тристан и друг» (см. перев. А.И.Орлова: «Разговоры». СПб., 1888).

В первоначальном виде (опубликованном в книге Тинякова 2002 года издания) примечание это было в два раза больше. Александр Иванович объяснял чуть ли не каждую строфу своего произведения. Но, видимо, сам понял, что это – перебор.

* * *

По нынешним временам, когда абсолютное большинство сборников стихотворений, в том числе и известных поэтов, не удостаиваются никаких отзывов в печати, на книгу Тинякова реакция была заметной. «Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами», – свидетельствует Ходасевич.

Вардван Варжапетян отыскал и собрал в своей повести в документах «Смердяков русской поэзии»^[8] большинство этих откликов.

Декаденты-символисты в основном сдержанно хвалили.

Владимир Гиппиус, троюродный брат Зинаиды Николаевны, писал:

Стихи Одинокого (А.Тинякова) печатаются давно, но редко, и первое понятие о его личности дает эта книжка. При первом чтении автора становится жаль.

Жаль, что поэт, сумевший назвать любовь – «нищенкой», сумевший подглядеть в осенней природе «пламя листьев ярко-рыжих» и подслушать, как «березы служат литургию», – что такой поэт расточает свои способности на повторения Бальмонта («...верьте, что мудрей живут поэты, отдаваясь вечной смерти за мгновенье красоты») или Брюсова («она идет, как на распяты, на пьяный крик, на грубый зов...») <...> И все-таки есть в стихах Тинякова подлинная боль и подлинное одиночество...

Константин Бальмонт в рецензии «Молодой талант», надеюсь, вполне искренне признавался:

...Книга Александра Тинякова, – или вернее, небольшая книжка, в ней 90 небольших страниц, – в ряду книг молодых поэтов радостно удивила меня. Это настоящий талант. Сильный стих и в то же время нежный, своеобразие настроений, умение овладеть самой трудной темой, которой может задаться лирический поэт. <...>

Иногда можно оспаривать привлекательность поэтических тем. Таков весь отдел «Цветочки с пустыря». Я разумею стихи: «Плевочек», «Молитва гада» или «Кость». Их нельзя читать без отвращения – и, однако, они написаны очень хорошо.

Шестидесятилетний Иероним Ясинский, скрывшись за псевдонимом М.Чуносков, расхвалил поэму «Разлука», назвал несколько стихотворений Тинякова «превосходными», но пожурил за некоторые другие, в том числе, конечно, за «Плевочек».

Только-только народившиеся акмеисты были куда суровее. Гумилев даже не в рецензии, а в крошечной заметке вынес приговор:

Хорошие стихи талантливое Александра Тинякова (Одинокого), известного читателям по «Весам», «Перевалу» и «Аполлону», очень проигрывают в книге. Прежде казалось, что они на периферии творчества поэта, что они только вариации каких-то других, нечитанных, полно заключающих его мечту, теперь мы видим, что этой мечты нет, и что блеск их – не алмазный блеск, а стеклянный.

Главное в них, это темы, но не те, неизбежные, которые вырастают из глубин духа, а случайные, найденные на стороне. Поэтому и сами стихотворения ощущаешь, как всегдашних детей вчерашнего дня. Александр Тиняков – ученик Брюсова, но как прав был Андрей Белый, говоря, что брюсовские доспехи раздавят хилых интеллигентов, пожелавших их надеть. Тиняков – один из раздавленных.

Сергей Городецкий высказался обстоятельнее:

Эта книга вышла с большим опозданием. Яд ее давно уже сделался безвредным, недействительным. Смаковать подполье вряд ли кому интересно теперь, когда вся поэзия так дружно устремилась к стройности в форме и величию в содержании. <...>

Выученник Валерия Брюсова, он еще всецело находится во власти учителя и не выработал ни своей ритмики, ни своей эйдологии (системы образов, присущей каждой выразившейся поэтической индивидуальности). Но тем не менее, ни одно его стихотворение нельзя назвать бездарным. Не желая погружать в мир, где любовь – нищенка, где герои – morituri, мы не приводим цитат. Но ручательством за талантливость служит, между прочим, и то, что поэт дебютировал в лучших декадентских журналах, в «Весах» и «Золотом Руне». Пережитком той эпохи и является его творчество. Весь вопрос в том, найдет ли поэт в себе силы скинуть с себя дурную паутину (давно уже истлевшую), или он отравлен более, чем сам травивший его яд. Нам очень бы хотелось позвать этот талант, обладающий чарами зоркого реализма, не чуждый музыке, к творчеству иному, утверждающему жизнь, а не «сукровицу».

На рецензию Городецкого едко ответил юный (и юным покончивший с собой) Иван Игнатъев, идеолог эгофутуризма:

...Очевидно, г. Городецкому присуще мыслить совсем иным органом, нежели тот, в коем находится всуеболтливый его язык.

В «Гиперборее» (№ 2), неофициальном «цеховом» «официозе», выходящем «при непосредственном участии Сергея Городецкого и Н.Гумилева» (читайте – редактировании), находим:

...И	при	питье	на	сточную	кору,
Наросшую		из	сукровицы,		кала,
В	разрыв	кишок,	в	кровавую	дыру
Сочась,	вдоль	по	колу	вода	стекала...

(М.Зенкевич. «Посаженный на кол». Стр. 9).

Платформу «беспристрастной» «критики» можно определить так: – «Если ты наш, свой (т. е. в данном случае из „Цеха“), – будь написанное тобою – непроходимо бездарно, – мы выскажемся в самом благоприятном тоне. Напиши о том же талантливый чужой, не наш, – кроме поголовной брани огулом ничего не заслужишь».

Впрочем, о «критике Городецком» серьезно не говорят. И это радостно. Печально то, что Гумилев – человек большой эрудиции и не меньшего вкуса, допускает «передержки», не уступающие передержкам друга – «синдика» Сергея Городецкого.

В отклике тогдашнего тиняковского друга (или близкого товарища, сверстника, что тоже важно) Владислава Ходасевича оказалось больше снисходительности, чем поддержки:

Подчиненность г. Тинякова г. Брюсову является главным недостатком всей книги. Ее безусловное достоинство – подлинный лиризм автора. Можно сочувственно или враждебно относиться к идеям г. Тинякова, но нельзя не признать, что он никогда не опускается до холодного выдумывания стихов, до писания ради писания, до стихотворного жонглерства, получившего столь широкое распространение в последние годы. Переживания г. Тинякова подлинны, – и это заставляет примиряться с их немного наивным демонизмом.

Стих г. Тинякова довольно жесток, отрывист, немзыкален, но в нем чувствуется серьезная работа, которая, думается, со временем даст хорошие результаты. Лучшие в книге – стихотворения: «Идиллия», «1-я песенка о Беккине», «Вьюжные бабочки». Худшее – псевдоученые примечания, которыми снабжены некоторые стихотворения. В общем же книга г. Тинякова производит довольно приятное впечатление.

Впрочем, если верить письму Ходасевича Борису Садовскому от 6 декабря 1912 года, первоначально рецензия имела иной вид:

Если увидите Одинокого, то скажите, что я очень благодарен за книгу и за добрую на ней надпись. Но дело еще не в этом. Я дал в «Утро России» о ней рецензию строк в 80. Из нее сделали 23 строки, зачеркнув все мои похвалы, послужной список Одинокого и заключительные приветствия. Зато кое-что они прибавили от себя. В результате – я объявил этим ослам, что нога моя не будет в ихней газете, но перед Одиноким мне все-таки стыдно. Скажите ему все это, и пусть он мне напишет, сообщив свой адрес. Он мне милее многих.

Так или иначе, революции в поэзии «*Navis nigra*» не произвела. «Он ждал либо славы, либо гонений (привожу слова все того же Ходасевича из „Неудачников“. – *P.C.*), которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать Одинокий не вынес. В душе он ожесточился. <...>

После „катастрофы“ со сборником (хотя вся катастрофа в том-то и заключалась, что никакой катастрофы не было) Тиняков проклял литературную Москву и перебрался в Петербург».

* * *

Документы показывают, что перебрался наш герой в Петербург еще до появления большей части отзывов – практически сразу после выхода «Navis nigra». Видимо, решил, что теперь, как автор целой книги стихотворений, достоин войти в литературный мир столицы империи.

Как и без малого десять лет назад, когда пытался обосноваться в Москве, Тиняков заручился рекомендациями. Вардван Варжапетян в повести «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи» приводит письмо главного редактора издательства «Гриф» Сергея Соколова (псевдоним Сергей Кречетов) одному из самых известных в то время писателей Алексею Ремизову (от 24 сентября 1912 года):

Дорогой Алексей Михайлович!

Примите благосклонно сего молодого поэта. Это – Александр Иванович Тиняков (Одинокый), переправляющийся на жительство в Петербург. Знакомых у него из писателей там нет, кроме тех будущих, к коим я дам ему рекомендательные письма. Откройте ему ход в литературный мир, где его место вполне по праву. Буду очень за сие благодарен.

Ремизов тут же переправил Тинякова к Блоку: «...Примите его, назначьте ему день и час, в Академию его запишите, в цех поэтов укажите дорогу (к Городецкому)».

Второго октября состоялось знакомство Тинякова с Блоком. Блоку Александр Иванович понравился, они сблизятся и будут встречаться до конца апреля 1916-го, когда с Тиняковым порвут отношения почти все *прогрессивные...*

В общем, первые шаги в Петербурге оказались для героя нашей книги удачны, но того восхождения, какое произошло совсем недавно у Николая Клюева и какое случится через два с половиной года у Есенина, Тиняков не испытал. Он *был* и решил *остаться* символистом, а Городецкий, сохраняя добрые отношения с Блоком, с символистами воевал. Заявись Тиняков в Петербург как крестьянин (что проделал Николай Клюев и большая часть других поэтов, которых позже назовут «новокрестьянскими») или как *вернувшийся к истокам* вчерашний декадент, может быть, он бы и удостоился стойкого упоминания где-нибудь между Пименом Карповым и Алексеем Ганиным.

Сам Тиняков пока ни с кем не воюет. Первого октября он посылает Николаю Гумилеву «Navis nigra» и письмо с нотками заискивания:

Глубокоуважаемый Николай Степанович,

Позвольте мне предложить Вашему вниманию первую книгу моих стихов и сказать несколько слов о том, с какими мыслями и чувствами я предлагаю ее Вам.

Уже давно, – познакомившись с Вашими отдельными стихотворениями в журналах, – я начал думать о Вас, дающем огромные обещания.

Теперь же, – после «Чужого Неба», – непоколебимо исповедую, – что в области поэзии Вы – самый крупный и серьезный поэт из всех Русских поэтов, рожденных в 80-х г.г., что для нашего поколения Вы – то же, что В.Брюсов для поколения нынешнего. Нечего и говорить, что читая Ваши произведения, я могу только горячо радоваться за свое поколение, а к Вам, как к нашему «патенту на благородство», относиться с величайшим уважением и благодарностью.

Я буду очень счастлив, если Вы напишете мне что-нибудь о моей книге. Особенно ценны будут для меня Ваши указания на мои промахи. Я очень многим обязан беспощадной критике В.Я.Брюсова, а его осторожное одобрение значило для меня больше, чем шумные похвалы других.

Я очень желал бы встретиться с Вами и был бы горячо благодарен Вам, если бы Вы сооблаговостили дать мне Ваши произведения с Вашим автографом.

А спустя неполный месяц Гумилев отозвался в журнале «Аполлон», где, по сути, назвал весь сборник Тинякова *промахом*.

Обиду на своего одноклассника Александр Иванович пронесет через всю жизнь; влюбленность в Анну Ахматову только усилит неприязнь. Через десять лет Тиняков упомянет (еще как!) Гумилева в самом страшном и печально известном своем стихотворении – «Радость жизни».

Впрочем, отношения вначале и с Николаем Степановичем складывались хорошие. На свое письмо Тиняков наверняка получил положительный ответ, потому что в письме Борису Садовскому (о Садовском подробнее чуть ниже) сообщал: «...Я за это время был у А.М.Ремизова и у Н.С.Гумилева в Царском Селе. Там я познакомился с супругой Гумилева – Анной Ахматовой, с Игорем Северяниным и Георгием Ивановым. Ахматова – красавица, античная гречанка. И при этом очень неглупа, хорошо воспитана и приветлива. Комнаты их дома украшены трофеями абиссинских охот Гумилева: черная пантера, леопард, павиан...

Мое стих. „Скопец“ принято в журнале „Гиперборей“, а на сегодняшний вечер я получил приглашение в „Цех поэтов“...»

В «Цехе поэтов» Тиняков, правда, не задержался – не захотел быть подмастерьем у своих сверстников Гумилева и Городецкого.

Александр Ивановичу очень важен отклик на свою книгу от учителя Брюсова, о котором он слагал вот такие стихи:

Над	мертвой	пропастью	машин
И	электричества,	и блуда	—
Ты,	— как	единый	властелин,
Ты,	— как	единственное	чудо!..

28 сентября наш герой не выдерживает молчания Брюсова и пишет ему:

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич,
 Обращаюсь к вам с большой просьбой по поводу моей книги («Navis nigra») – я буду очень рад и благодарен Вам, если Вы напишете мне о впечатлении, которое эта книга произведет на Вас. Особенно мне было бы важно узнать Ваше мнение по поводу моей поэмы «Разлука». Сегодня я был у Ф.К.Сологуба. Он обратил внимание на эту поэму, прочел ее всю, сделал много метких указаний на мои промахи, но в общем остался скорее доволен этим произведением...

Брюсов не ответил.

Между тем рецензии на книгу выходили скупой и при этом становились всё отрицательнее:

Печать не то вырождения, не то какой-то отвратительной нарочитости – отличительная черта многих неприятных стихотворений этой гнетущей книги. <...> Там, где уже нужны услуги психиатра, по существу должен умолкнуть суд художественной критики. (Николай Мешков)

...нет ничего удивительного, если г. Тиняков сделался «Одиноким». Действительно, кто рискнет сидеть возле него в тот, например, момент, когда в... своем стихотворении он воспекает:

Мой	горб	—	моя	отрада,
Он	мне		всего	милей,
И	нет		прекрасней	смирада,
Чем	смирад		души	моей...

А теперь, читатель, откроем скорее форточку...
 Душно... Воздуху! (Эр. Печерский)

И 2 апреля 1913 года Тиняков пишет Борису Садовскому:

...Мне уже 27-й год и мне пора быть мужественным и открыто признать себя бездарностью. На такие мысли навело меня, между прочим, отношение Брюсова ко мне. Игорю Северянину он пишет льстивые письма, Эльснеру дарит портреты, Крученых поит чаем, Вербицкой преподносит свои сочинения с любезнейшими надписями, Телешову читает благодарственный адрес, а ко мне относится с явным презрением. Напр., он не ответил мне на несколько писем в прошлом году; а недавно я послал ему оттиск статьи о Тютчеве и письмо, в котором напоминал, что еще в 1905 году он обещал мне дать свой портрет, – и всё это осталось без ответа. А между тем я не назойлив и пишу ему раз или два в год и всегда по делу. Я думаю, что – в конце концов – Брюсов прав, и больше не буду лезть ни к нему, ни к литературе и перестану подниматься выше пивных лавок...

По сведениям Николая Богомолова, из девяти сот экземпляров «Navis nigra» за год было продано лишь семьдесят пять. «...В публике моя книга успеха не имела, и мне никогда не дано было изведать тех сладостных и упоительных (пусть хоть мимолетных!) – радостей, которые выпали на долю С.Городецкого, потом – Игоря Северянина, еще позже – Есенина и которые теперь каждый день выпадают на долю самых бездарных и безмозглых бумагомарак».

К такому заключению Тиняков придет в «Отрывках...» спустя тринадцать лет.

* * *

Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования, тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В одном писалось, что он окончательно обратился к Богу, что путь России – подвижнический, что она – свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев – Россия оказывалась навозной кучей и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и все упование возлагал на Государственную думу. Потом оказывалось, что Дума, печать, общество – в руках жидов... —

вспоминал Владислав Ходасевич в своих «Неудачниках».

С одной стороны, всё так, с другой... Стихи Тиняков писал, писал много, правда, печатал редко. Он действительно выступал как публицист, порой неуклюже забредая в философские дебри, но куда чаще публиковал рецензии, литературную критику, статьи по истории литературы. И письма Ходасевича к нему 1914–1915 годов это ярко демонстрируют:

Дорогой Александр Иванович!

Сердечное Вам спасибо за хорошие слова о моих стихах. За этот год я Вам собирался писать непрерывно, да ленив я на это дело до ужаса. В конце октября я 2 дня был в Пбурге, звонил в «Сев. Зап.», справлялся о Вашем адресе. Там мне сказали, что Вы уехали «в провинцию». Оказывается, это была неправда. Иначе я бы Вас повидал. <...>

Когда напечатаете заметку о моей книге – сообщите, где она напечатана, или пришлите вырезку; очень обяжете.

Вот из другого письма:

Вы когда-то интересовались судьбой моей «Русской лирики». Поверите ли? Она вышла только на прошлой неделе, [с] пометой: 1914. Это оттого, что первые листы были отпечатаны 2 года тому назад. Книжечку посылаю Вам, хоть и стыдно; если бы Вы вздумали написать о ней несколько строк, – я был Вам очень признателен.

Никаких идеологических разногласий по крайней мере в сохранившихся письмах Ходасевича Тинякову мы не находим.

С теми же просьбами к нашему герою обращается и Зинаида Гиппиус (она хлопочет о сочинениях мужа – Дмитрия Мережковского), с которой у Тинякова сложились если не дружеские, то вполне доверительные отношения, и сам Мережковский. Вот, например: «Мне очень важно, чтобы Вы написали обо мне статью. Я не сомневаюсь, что Вы ее в конце концов напечатаете. Думаю, что в Биржев[ых ведомостях] или Дне возьмут – я там пользуюсь некоторым влиянием. Сегодня я отдал распоряжение, чтобы Сытин послал Вам Полное собрание моих сочинений».

Статьи, рецензии, стихи Тинякова печатаются в «Речи», «Дне», «Северных записках», «Новом журнале для всех», «Дневниках писателей», «Голосе жизни», «Историческом вестнике», «Ежемесячном журнале», «Новом Сатириконе»... Всё это издания более или менее

либеральные, в которых публиковались по большей части тогдашние прогрессивные литераторы.

Заносит Александра Ивановича в 1915-м со стихами в умеренно правый журнал «Лукоморье» (в который позже чуть не попадет Есенин – два раза возьмет авансы в счет гонораров, а стихи так и не даст), чего Гиппиус не одобряет, но мягко: «Пока „сердце ваше не осуждает вас“, – пишите в „Лукоморье“, а я только оставлю за собой право надеяться, что когда-нибудь „сердце осудит“, и эта линия само (*так!* – примечание публикатора писем Николая Богомолова. – *Р.С.*) собою переменит у вас направление».

Ох, знала бы Зинаида Николаевна, что Тиняков еще за полтора года до этого напечатал в черносотенной газете «Земщина» две статьи в связи с делом Бейлиса. Правда, под псевдонимом.

Цитирую письмо дальше: «Стихи не нравятся мне. „Политически-недостойного“ ничего нет, но какие-то они слабые, не нужные. Для инакомыслящих могут быть „удобными“, впрочем. Есть многое, что живо и хорошо, пока облечено в молчание, а „описанное“ – гаснет и даже может начадить».

Что это за стихотворения? «Оправдание войны» и «Страшна смиренная Россия...»

Первое:

Сестрою		смерти		речь		людская
Войну		неправо				нарекла:
Война	–	свиная		и	злая	—
Вершит		не		мертвые		дела.

Не	к	смерти,	хилой	и	костлявой,
Бойцы		стремят	свои		сердца,
А	к	жизни,	сладостной	и	правой,
К	могучей	жизни	–	до	конца!

И	смерть	в	сраженьях	не	почетный,
А	только		неизбежный	гость,	—
И	жизнь	–	с	улыбкой	беззаботной
Бросает	ей		за	костью	кость!

Но	мчится		весело	в	атаки,
Но	кроет		дерзким	дымом	твердь
И	в бой	зовет	в огне	и	мраке: —
Поверьте,		юные,	–	не	смерть!

Порыв			стремительный		героя
И	горький		плач	его	жены —
Все	это	–	наше,	все	– земное
И		чуждо		смертной	тишины.

Пускай		страданий		слишком		много,
Склонить		мы		головы		должны,
Как	перед		мудрой		волей	Бога,
Пред			неизбежностью			войны.

И	мы	не	можем,	не	страдаю,
Понять,		как		сладостна	любовь,
И	нам		мила	краса	земная,
В	которой	–	слезы,	боль	и кровь.

Второе... Второе в том же духе и в той же форме.

Смею высказать мнение, что декадентское у Тинякова получалось художественнее, что ли. Но шла война, и нужны были патриотические, духоподъемные стихи. Впрочем, герой нашей книги оставался верен себе – параллельно с духоподъемным писал и такое:

Смерть	играет	со	мною	в	роковую	игру,
Давит		горло		рукой		беспощадной,
И	я	знаю,	что	я	через	месяц умру:
Стану		грязью		червивой	и	смердной.

Будет	рай	или	ад?	Я	воскресну	иль	нет?
Все		равно:			одинаково		глупо!
У	меня	диабет,		у	меня	диабет,	—
Ад	и	рай		безразличный		для	трупа!
(Диабет)							

* * *

В феврале 1915 года Александр Иванович принял участие в полемике об отношении России к Западу, западной цивилизации. Суть и ход ее можно найти в статье Николая Богомолова «Неосуществленный цикл О.Э.Мандельштама и журнальная полемика 1915 г.»^[9] и в его же предисловии к публикации писем Гиппиус Тинякову^[10].

Началом полемики стала статья «Выбор ориентации» Федора Сологуба в шестом номере еженедельной «иллюстрированной летописи» «Отечество» 14 декабря 1914 года.

Статья эта отличается от содержания и направления всего номера – он не просто посвящен идущей войне с Германией и Австро-Венгрией, а окрашен в победительные тона. Вот, например, начало стихотворения Игоря Северянина, соседствующего со статьей Сологуба: «Войска

победоносные / Идут на Будапешт, / В терпеньи безвопросные, /
Исполнены надежд...»
У Сологуба тон иной:

Когда мы (русская интеллигенция. – *Р.С.*) думаем о войне, мы думаем не столько о прерванном для войны труде мужика тамбовского, или ганноверского, или бретонского, сколько о разрушенном Лувене, о Реймском соборе, о нехороших поступках курортных германских врачей, о газетных статьях германских публицистов, поэтов, ученых, о их ненависти к нам, русским, которых они зовут варварами, и о том особенно, оказалась ли германская культура на высоте тех гуманных идей, которыми мы, среди всего неустройства и зла жизни нашей, так дорожим. <...> Перед нами стоит трагический вопрос: сохранить ли нам нашу влюбленность в европейскую, в частности, в германскую, культуру, или это европейское, германское, разлюбить. <...>

Европейская ориентация у нас терпит кризис, – размеры которого так велики, как мы теперь только с трудом можем представить, – потому что европейская культура потребна нам только отчасти, в предметной своей части, а не целиком, как мы хотели ее взять. Никогда, думаю я, не дойдем мы до того «культы вещей», которым так характеризуется та же немецкая цивилизация, и никогда душу свою, Марию, не променяем на тело ее, Марфу. <...>

Это не значит, конечно, что нам следует отвергнуть материальную культуру Европы. Технику и законодательство, манеру строить дороги и дома и строить даже внешние формы жизни, – все это будем брать по-прежнему или даже еще энергичнее, но всему этому дадим только служебное значение.

В следующем номере «Отечества» за подписью «Редакция» напечатана статья «Вынужденный ответ», направленная против отношения к войне Гиппиус и Мережковского:

...З.Н.Гиппиус (не секрет, что псевдоним «Антон Крайний» принадлежит ей!) негодует на то, что в настоящий момент писатели... пишут, т. е. делают то дело, к которому они призваны. В неприличной выходке – таков литературный род, к которому относится ее заметка «Апогей», – Антон Крайний выражает крайнее недовольство Леонидом Андреевым. «За какой журнал, за какую газету ни возьмись, везде статьи Л.Андреева», – пишет Антон Крайний и в доказательство перечисляет *три* названия! Большой русский писатель Леонид Андреев искренне и честно делает свое дело, болеет душой о русском горе <...>. Кто решится отрицать за ним право на высказывание, и кто увидит в желании искреннего и честного писателя – высказаться о важных событиях нашей жизни – предмет для глумления? Вопрос, к

сожалению, не риторический, ибо Антон Крайний делает и то и другое. Под его пером упреки по адресу Леонида Андреева звучат особенно безстыдно, так как именно З.Гиппиус (она же Антон Крайний) в своих стихах требует от писателей молчания в настоящий момент:

Нужно		целомудрие		молчанья
И,	может	быть,	тихие	молитвы!

Господин Антон Крайний, следуйте своим словам и постарайтесь заменить ваш цинизм даже без грации целомудренным молчанием, тихое злословие тихими молитвами! <...>

Идет жестокая война. Кровь и ответственность на всех нас. Слезы, стоны, клики сочувствия несутся со всех сторон; никто не может чувствовать себя не затронутым войной. Один Д.С.Мережковский избрал благую часть: он умыл руки в крови, как некое историческое лицо, и, отойдя в сторону, стал подсвистывать и подхихикивать всем, кто говорит, что война – не постороннее нам дело, а наше, кровное наше дело...

Конечно, напрямую отвечать на такие обвинения было бы весьма затруднительно, – пишет Николай Богомолов в своей статье «Неосуществленный цикл О.Э. Мандельштама и журнальная полемика 1915 г.», – особенно ввиду военной цензуры. <...> Кажется, именно поэтому для полемики Мережковские, используя «Голос жизни» (еженедельник, выходивший с октября 1914-го по июнь 1915 года, в котором супруги Мережковские «принимали деятельное участие» с первого же номера. – Р.С.), доверили слово Тинякову, вхожему к Сологубу и даже печатавшемуся в его журнале, а также публиковавшемуся в «Отечестве».

В восьмом номере «Голоса жизни» (18 февраля 1915 года) появилась статья Александра Ивановича «К переоценке ценностей». В ней, как справедливо определяет Николай Богомолов, «Тиняков довольно неоригинально с точки зрения профессионала, но в то же время явно претендуя на новое слово в истории мировой культуры, говорил, что исконная задача России состоит не в том, чтобы перенять достижения западной цивилизации (в том смысле, в каком это слово употреблялось в начале XX века), а в отказе от нее и в желании сохранить те духовные ценности, которые в ней уцелели, погибнув или погибая в Европе».

Вот несколько цитат из статьи Тинякова:

Великая по своим размерам война должна привести и к великим внутренним переменам. Она властно требует от нас переоценки, – если не всех, то большинства культурных ценностей. И прежде всего она требует пересмотра, упорядочения и углубления наших отношений к западно-европейской цивилизации. <...> К началу XX века несоответствие между достижениями материальной, интеллектуальной и духовной культуры на Западе стало угрожающим. Рядом с гигантским развитием техники и всяческих прикладных знаний шло в Европе моральное одичание...

Технический прогресс заставляет человеческий организм видоизменяться быстрее, чем этого требуют законы природы, он заставляет людей сообразовать работу своего сознания с работой всяческих машин, и в конце концов машина подчиняет себе человека физически и умственно. <...> Опьяненные внешними победами над природой, люди перестают думать о внутренней борьбе, и благодаря этому они преждевременно слабеют физически, развращаются умственно, мельчают духовно. <...>

Мы еще должны долго и много работать, чтобы воспринять и воспитать в себе европейское, германское упорство, немецкую волю; но с помощью этой воли мы должны развивать не технику, не фабрики и заводы, не пути сообщения, а наше нравственное «я». «Пусть побывавшая в европейской школе Марфа хлопочет и заботится о всем внешнем, – хозяйкою нашего великого русского дома останется все же мечтательная и молитвенная Мария, сидящая у ног Христовых», – пишет Сологуб. Но если так, то хозяйке нашего дома не нужны броненосцы и граммофоны и заботы о чем-либо подобном, ибо Мария не забудет слов Учителя, сказанных ее сестре: «Марфа! Марфа! ты заботаешься и суетишься о многом, а одно только нужно». Здесь не может быть колебаний и совмещений: Христос и Эдиссон идут в разные стороны, и если нам душа Марии действительно ближе души Марфы, то мы пойдем за Христом, не слушая того, что нам будет кричать Эдиссон в усовершенствованную телефонную трубку. И не только сами пойдем, но и наших западных братьев попытаемся увлечь на наш путь!

Буквально в следующем номере Зинаида Николаевна, прикрывшись своим прозрачным псевдонимом А.Кр<айний>, ответила Александру Ивановичу:

...Очень опасен уклон статьи г. Тинякова <...>. Опасен и неверен, хотя исходит автор из верных положений, – о двойственности культуры. <...> Переразвитие внешней культуры ведет к механике, к автоматизму – к

падению; переразвитие стороны внутренней – к разъединению, к вымиранию, к одичанию – т. е. опять к падению. У нас и у немцев – две разные, но равные опасности. <...> К вырождению ли духа ведет путь или к вырождению плоти – на конце обеих одинаковая гибель. Допустим, что в Германии разлагается личность; а мы будем ли правее и счастливее, если у нас начнет разлагаться – общество? «Христос и Эдиссон идут в разные стороны», – утверждает г. Тиняков. Сопоставление не из удачных, но все равно, мы берем не личности, а принципы. И тут я должен в сотый, в тысячный раз сказать: нет, они именно идут в одну сторону, вместе, неразрывно слитые в одном движении. Мало того: в Христе уже есть Эдиссон, и отречение от Эдиссона равносильно отречению от Христа.

В опубликованных письмах Гиппиус к Тинякову нет обсуждения этой полемики (большинство сохранившихся написаны после ее окончания), но создается впечатление, что Зинаида Николаевна Александра Ивановича, что называется, подставила, сводя счеты с «Отечеством». В результате у Тинякова испортились отношения с Сологубом, в самом «Отечестве» он больше не печатался.

Полемике продолжила Мариэтта Шагинян в том же «Голосе жизни», Тиняков ей довольно резко ответил «Письмом в редакцию». Затем в «Голосе жизни» состоялась своеобразная поэтическая дуэль, которую (явно без ведома участников) сконструировала та же Гиппиус. Кстати пришлось оказавшиеся в редакции стихотворения Осипа Мандельштама из цикла «Рим» («О временах простых и грубых...», «На площадь выбежав, свободен...», «Посох мой – моя свобода...») и два стихотворения Тинякова («Слава будням» и «Цивилизация»). Их поместили на одной журнальной полосе: Мандельштам, дескать, *западник*, Тиняков – *почвенник*.

Стихотворения Осипа Эмильевича найти легко, поэтому приведу тиняковские строки.

Слава будням

Чудесней		сказок		и		баллад
Явления		жизни		повседневной		—
И	пусть	их		за	мечтой-царевной	
Поэты-рыцари						спешат!
А	мне	милей		волшебных		роз
Пыльца		на		придорожной		травке,
Церквей			сияющие			главки
И	вздохи			буйные		берез.

Пускай	других	к	себе	влекут
Недосягаемые		башни,		—
Люблю	я	быт	простой,	домашний
И	серый		будничный	уют.

Мелькнув,		как	огненный	язык,
Жар-птичьи		крылья	проблистали,	—
Но	я	люблю	земные	дали
И	галок		суетливый	крик.

Жар-птица		в	небо	упорхнет,
Но	я	не	ринусь	вслед
К		земле	любовью	за
И	лишь	о	ней	душа

Поет,	ликует	и	—	молясь,
Благословляет		все		земное:
Прохладу		ветра,	ярость	зная,
Любовь	и	грусть,	цветы	и

Цивилизация

Визжат		гудки		автомобилей,
Волнуя		городской		хаос,
А	где-то	дремлют	души	лилий,
Которые		любил		Христос.

К	заветам	Господа	не	чутки,
Пред	сатаной	мы	пали	ниц,
Мы	—	палачи,	мы	проститутки,
Мы	лживей	и	смрадной	лисиц!

Из	камня	мы	громады	строим,
Из	стали		делаем	зверей
И,	точно	псы	пред	смертью,
При	мертвом		свете	фонарей.

И	в	нас,	как	нищая
Душа		больна	от	ран
И	нам	подумать		стыдно,
Что	к	нам	опять	придет

На	дивный	запах	Божьих	лилий
Дадим	мы	Господу	в	ответ

Лишь смрадный дух автомобилей
Да сумасшедших дикий бред.

Итак, полемика завершилась, но Александр Иванович еще долго будет отстаивать свою точку зрения (нередко себе противореча) в статьях, рецензиях и стихах. По сути, до тиняковской истории – скандала, разразившегося весной 1916 года.

В конце этой главки дам слово самому герою моей книги:

Вершиной моей литературной деятельности и известности надо считать 1915-й год, когда я писал в газетах «День», «Речь», «Голос», в «Историч. Вестнике», в «Ежемес. Журнале» Миролубова и во множестве еженедельников. Мои рецензии обращали на себя внимание, о моих фельетонах говорили (особенно сильный шум вызвала моя статья «В защиту войны», направленная против Леонида Андреева и напечатанная в «Речи» 26 октября 1915 г.). Виднейшие писатели интересовались мною. <...>

Но в начале 1916 г. все это разом оборвалось...

* * *

С литератором Борисом Садовским (переименовавшим свою фамилию на более породистый лад – «Садовской») Тиняков познакомился еще в Москве. Оба в 1900-х боготворили Брюсова и пытались добиться его любви. Но по-настоящему близки они стали с первых же недель жизни Александра Ивановича в Петербурге.

Отношение многих специалистов (и не только) к очеркам Георгия Иванова о персонажах Серебряного века, мягко говоря, скептическое в плане достоверности, но избежать их цитирования невозможно – других сведений по интересующей нас теме почти не сохранилось (или они находятся в глубине архивных джунглей).

Итак, отрывок из девятой главы «Петербургских зим» Георгия Иванова^[11].

Я рисовал себе это свидание (с Борисом Садовским. – *Р.С.*) несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия – поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды...»

...В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов – все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым, потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:

Русского			царя			солдаты
Рады			жертвовать			собой,
Не	из	денег,	не	из		платы,
Но	за	честь		страны		родной.

На нем был расстегнутый... дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт...

Я стоял в недоумении – туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.

– Иванов! – громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на *о*. – Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру – съели, не надо опаздывать! Наверстывайте – сейчас жженку будем варить!..

Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:

Эх	ты,	водка,
Гусарская		тетка!
Эх	ты,	жженка,
Гусарская		женка!..

– Подтягивай, ребята! – вдруг закричал он, уже совершенно петухом. – Пей, дворянство российское! Урра! С нами Бог!..

Я огляделся. – «Дворянство российское» было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Не долго был трезвым и я. <...>

Та же комната. Тот же голос. Те же пронзительно ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу-гусара.

На стенах, на столе, у кровати – всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.

– Сей муж, – поясняет Садовский, – был величайшим из государей, не токмо российских, но и всего света. Вот сынок, – меняет он выпрешенный тон на старушечий говор, – сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул – хамов освободил. Хам его и уколошил...

Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты, – портрета Александра II нет.

– В доме дворянина Садовского ему не место. <...>

Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.

Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «...Священная миссия высшего сословия...» Он обрывает фразу, не окончив.

– Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах!..

– Давайте.

«Монархизм в эпоху 1905–1917 годов был слишком непопулярен и для писателя не мог пройти безнаказанно, – писал в статье „Памяти Б.А.Садовского“ Владислав Ходасевич. – Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности – ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права».

А вот из дневника Корнея Чуковского (запись от 8 июня 1914 года):

«Б.А.Садовской очень симпатичен, архаичен, первого человека вижу, у которого и вправду есть в душе старинный склад, поэзия дворянства. <...> Но все это мелко, куцо, без философии».

«Дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка», «дворянство российское», портреты императоров, «мерзость выкинул – хамов освободил», «дворянская фуражка с красным околышем», «речь о прелестях крепостного права», «старинный склад», «поэзия дворянства»... Вот под влияние какого человека попал крестьянский сын Александр Тиняков – после поклонения купеческому сыну Валерию Брюсову.

Борис Садовский прожил долгую, темную и несчастную жизнь.

Родился в 1881 году в утратившем статус уездного городке Ардатов Нижегородской губернии. Отец, родом из духовного сословия, выслужил дворянство. В 1904 году Брюсов пригласил Садовского писать критические заметки в журнал «Весы». Позднее сотрудничал со многими петербургскими и московскими газетами и журналами.

Сочинял стихи, но большую известность приобрел как историк литературы (много писал о поэтах XIX века) и либреттист, адаптировавший для кабарешных представлений в том числе и произведения Пушкина.

В двадцать три года Садовский заболел сифилисом. Из-за слишком интенсивного лечения препаратами ртути его в 1916-м разбил паралич. В 1920-х жил в Нижнем Новгороде; распространился слух о его смерти, и эмигрировавший Владислав Ходасевич написал статью «Памяти Б.А.Садовского», из которой я выше привел несколько слов.

Но Садовский, хоть и прикованный к инвалидному креслу, был жив. И прожил после этого некролога еще больше четверти века. В конце двадцатых даже перебрался в Москву, поселился в келье Новодевичьего монастыря. В начале Великой Отечественной ждал немцев, вступил в подпольную монархическую организацию «Престол» (а по некоторым данным ее возглавил). Организация эта стала частью большой контрразведывательной игры НКВД, принесла больше пользы, чем вреда, поэтому, наверное, Садовского не тронули. Ну и инвалид ведь, несчастный человек...

Умер он за год до смерти Сталина – 5 марта 1952 года. Не публиковался с 1928-го. Впрочем, не очень и стремился – писал такое, что и в Серебряном веке вряд ли бы нашло читателя. Издание произведений Садовского в 1990–2000-е прошло практически незамеченным. Его слова из статьи 1915 года о поэтессе Каролине Павловой – «за тридцать лет до смерти ее постигло полное и вполне заслуженное забвение» – оказались пророческими по отношению к себе самому.

* * *

Георгий Иванов замечает в «Петербургских зимах», что у Садовского «крепостничество и дворянство напускные», но жизнь показала: нет – вполне искренние. Его воспринимали как талантливое чудачество, монархизм как эпатаж – и ошиблись. Садовский не только болтал, но и действовал, втягивал молодых (и не таких уж молодых) декадентов, символистов, акмеистов в сомнительные, а то и откровенно черносотенные круги.

После сближения с Садовским и Тиняков быстро начал править. Правда, не стоит идеализировать Александра Ивановича: он и до того частенько винил *жидов* в разных грехах (например, еще в 1900-х, на страницах «Орловского вестника») – но в Петербурге перешел вполне четкую границу...

В 1909 году в Санкт-Петербурге была основана газета «Земщина». В первом номере были заявлены цели и идеи издания:

...Русский народ всегда инстинктивно чувствовал, что только Царь может быть ему надежным защитником. Теперь же, когда на нас

наседают Иудеи и многие инородцы, побуждаемые жадностью к наживе и обладающие огромной энергией, сплоченностью в политических интригах, а главное – запасами золота, при помощи которого покупаются не только голоса на выборах, но нередко и совесть людей, – русский народ сознательно не допустит умаления власти Царя. Он ясно понимает, что с того дня, как Россия лишится своего Самодержца, окончательно завершится порабощение его и начнется расчленение государства. Нет, не в конституции, а в земщине наше спасение...

В 1916 году открылось, что Тиняков в 1913-м почти одновременно печатался в кадетской газете «Речь» и других либеральных и демократических изданиях и, под псевдонимом Александр Куликовский, – в черносотенной «Земщине». Причины этого открытия тянут, по-моему, на детективное расследование, в котором отлично можно показать нравы литературного мира. Повесть в документах Вардвана Варжапетяна «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи» и есть по сути такое расследование.

Опираясь на эту работу и на другие источники, попытаюсь более или менее подробно рассказать о тиняковской истории.

Весной 1915 года Тиняков опубликовал заметку, в которой критически оценил книгу статей «Озимь» своего покровителя Бориса Садовского. Тот обиделся и стал намекать в беседах с *прогрессивными* собратьями по писательскому цеху, что Тиняков сотрудничает в «Земщине». Осенью появилась совсем не хвалебная рецензия Александра Ивановича на сборник Садовского «Лебединые клики»; Садовский в марте 1916-го ответил, прикрывшись псевдонимом Б.Борисов, стихотворным фельетоном «Литературные типы. История одинокого человека» в «Журнале журналов», где уже вполне четко поведал о связи Тинякова-Одинокого с «Земщиной».

Он	в	годы	юности	далекой
Был		одиноким,		одиноким.
Аскетом		жил	в	уединении
И		сочинял		стихотворения.
Потом	в	литературу		вытек
И	стал	многообразный		критик.
Сотрудничал		езде	и	всюду,
Имея		псевдонимов		грудю.
Был	то	Кульковский,	то	Чинаров,
То		Белохлебов,	то	Матаров,
Писал	в	«Печи»	об	идеале,
А	в	«Немщине»	о	ритуале.
Здесь	был	за	Бейлиса	горою,
Там		Чеберячку	звал	сестрою.
Но	«явным	будет	всё,	что тайно» —
Открылась		истина		случайно.
Пошли		намеки,	слухи,	речи,

И	критик	вылетел	из	«Печи».
Пришлось	и	с	«Немщиной»	расстаться
И	в	безработные		вписаться.
Теперь	он	снова		одинокий.
О,	род	людской!	О,	род
				жестокий!

Тиняков узнал себя чуть ли не первым и через номер в том же «Журнале журналов» (своего рода таблоиде того времени – «еженедельнике нового типа») выступил с большой статьей «Исповедь антисемита», обвинив Садовского в том, что это он познакомил его с Борисом Никольским, одним из лидеров Союза русского народа, которого, впрочем, и Тиняков и Садовский называют в статьях «профессором М.», и вообще ввел его, Александра Ивановича, в черносотенный круг, себя же оправдывал тем, что он не низок по своей природе, а – «неустойчив».

Но лучше пусть скажет он сам:

...В октябре 1913 года я напечатал в «Земщине» за подписью А.Куликовского две антисемитические статьи о деле Бейлиса. Ни в «Речи», ни в каком другом либеральном издании я тогда участия не принимал. Отсюда ясно, что о моем «двуличии» не может быть речи. Я склонялся в 1913 году к монархизму и шел работать в «правые» издания. Плохо это или хорошо – это вопрос совершенно особый, – но ничего позорного в моем участии в «Земщине» я до сих пор не вижу, а вижу просто мою ошибку, мое заблуждение, которое я исправил, уйдя на другие пути.

<...> О моем участии в правой печати было известно только ему (Борису Садовскому. – *Р.С.*). Вот здесь-то мы и подошли к некоему «разоблачению».

В ноябре 1912 года г. Б.Садовской пригласил меня принять участие в возникавших тогда «Северных Записках», а меня порекомендовал издательнице – и статья моя появилась в 1-м № названного журнала за 1913 год. В сентябре же 1913 г. тот же самый г. Садовской, узнав, что я написал статью о деле Бейлиса, отнес ее к известному «правому» деятелю профессору М., и уже с «благословения» последнего и с его поправками эта статья и была напечатана в «Земщине». Напечатав там статью, я, естественно, прекратил отношения с «Сев. Записками» – г-н же Садовской не раз убеждал меня бывать в редакции «Сев. Записок», на что я отвечал отказом. Другими словами, г. Садовской увлекал меня на провокаторский путь, но увлечь не мог. <...>

Человек, пишущий в 1913 г. в «Земщине», а через год в «Речи», действительно, может показаться чрезмерно неустойчивым. Но и такой

взгляд не будет вполне справедлив. Не только постепенное изменение убеждений, а и коренные и внезапные перевороты бывают у большинства мало-мальски мыслящих людей, особенно в такие бурные и богатые событиями эпохи, как наше время.

<...> Неужели из того, что несколько лет тому назад я временно шел по ложному пути озлобленного юдофобства, а потом сошел с него, – вытекает, что мне нужно «заткнуть рот» и, как пишет г. Борисов, «в безработные вписаться»? <...>

Но каковы бы ни были мои теперешние взгляды на еврейский вопрос, г. Садовскому злорадство совершенно «не к лицу» и уж если «записываться в безработные», то, по справедливости, нам с ним следует сделать это вместе, ибо и «работали» мы вместе.

Вскоре последовал ответ Садовского, но не в «Журнале журналов», в «Биржевых ведомостях»: «...Считаю нужным заявить, что я никогда никакого отношения к „Земщине“ не имел. Что касается „правого“ профессора М., упомянутого в заметке (Тинякова. – *Р.С.*), то я, действительно, знаком с одним „правым“ профессором, но с ним сблизился исключительно на почве долговременного изучения поэта-классика, рукописями которого этот профессор владеет».

Впрочем, это объяснение удовлетворило не всех. Газета «Речь» не только закрыла двери для Тинякова, но и охладела к Садовскому. В повести Вардвана Варжапетяна «„Исповедь антисемита“...» помещена частушка тех дней:

Как	по	улице	Жуковской
Тиняков	шел	да	Садовской.
Плакали:	–	Куда	нам бечь?
Не	пущают	больше	в «Речь».

Вскоре Садовского парализовало, и он уехал (его увезли) из Петрограда на малую родину...

* * *

Что же писал Тиняков в «Земщине» за два с половиной года до разоблачения? Обе статьи были посвящены делу Бейлиса. (Не буду вдаваться в подробности, а суть дела, уверен, известна почти всем, если же нет – интернет вам в помощь.)

Первая была напечатана в номере от 4 октября. Называется «Грозовая заря». Комментировать ее считаю излишним. Приведу несколько цитат, чтоб показать тон и ход мыслей Александра Ивановича, авторитеты, на которые он ссылается. Пусть читатель сравнит этот клёкот со смиренно-удивленной интонацией «Исповеди антисемита».

Итак, самое начало:

Дело Бейлиса – одна из первых ласточек, предвещающих нашу весну, оно говорит – прежде всего – о том, что арийское самосознание повысилось, оно может считаться началом великого восстания европейских Арийцев против семитов вообще.

В последние годы в среде высшей русской интеллигенции случилось немало знаменательных фактов. Напр., в 1909 году в журнале «Весы» появилась горячая и глубокая статья Андрея Белого – «Штемпелеванная культура», в которой заключался страстный призыв к борьбе с семитами в сфере эстетического творчества, ибо семиты загаживают и обесценивают все области искусства. Среди образованных русских людей все чаще и чаще начинают встречаться страстные антисемиты, ненавидящие жидов не потому только, что «жиды – мошенники и ростовщики», а по причинам более глубоким. Именно потому, что жиды – раса низшая, Арийцам чуждая и враждебная... Великой ложью пропитаны утверждения, что ненависть к жидам вызывается невежеством. Она глубже и обоснованнее у людей образованных.

<...> Сознательный антисемит полагает, что существование евреев – историческая аномалия, ибо народ, лишенный творческих сил, не имеет права на существование, потому что такой народ – непременно паразит.

(Вспомним здесь портрет Тинякова, данный Ходасевичем в 1916-м, начинающийся с определения «паразит».)

Далее идет ссылка на книги «Г.С.Чемберлена», «проф. Сикорского», на «гениальную характеристику еврейского высокомерия, жестокости, сделанную Ф.М.Достоевским в „Дневнике писателя“ за 1877 г.».

Еще пассаж:

Мы ненавидим их за то, что они вонзили чужеродное тело в наш арийский организм, мы отвечаем ненавистью на их ненависть, мы начинаем сознавать наше полное и коренное несходство с семитами, мы начинаем сознавать, что не можем быть здоровыми, пока на нашем теле паразитирует еврейский народ. <...> Настанет день – и он близок, – когда весь народ русский поймет, что он – собственник своей земли, когда он припадет к стопам истинного Руководителя-государя и со слезами укажет ему на те язвы и раны, которыми покрыли народное тело жиды. Мы ненавидим жидов не за Ющинского (подросток, в убийстве которого обвиняли Менделя Бейлиса. – *Р.С.*), а за то, что жиды весь русский народ превратили в Ющинского, связали его золотыми

цепями, отравленными иглами изранили его душу и вытачивают его драгоценную кровь.

Финал статьи такой:

Кончается многовековая ночь, в которую вся Европа была погружена волей семитов. Новая заря встает над нами, и свет арийского самосознания уже озарил головы тех, кто убежден в причастности Бейлиса к ритуальному убийству.

Конечно, жутковато читать, вспоминается идеология нацистов. Впрочем, если заменить *жидов* на *англосаксов*, то вполне себе современный текст получится.

Был ли Тиняков убежденным антисемитом? Может, и был - и за бытовой антисемитизм в том числе его арестуют в 1930-м. Но написать статьи, что печатала «Земщина», его, по-моему, подтолкнула потребность быть *человеком наоборот*. В деле Бейлиса почти все здравомыслящие если и не уверились в невинности подсудимого, то уж точно видели и осуждали предвзятость суда (даже такой крайний антисемит-теоретик, как Василий Шульгин, сделавший для оправдания Бейлиса очень много). А Тиняков - не хотел видеть и осуждать.

Желание быть не как все он демонстрировал многократно и зачастую довольно глупо. К примеру, по свидетельству Алексея Ремизова в книге «Взвихренная Русь», в начале Первой мировой войны, когда антигерманские настроения были на пике, кричал на всю Фонтанку: «Да здравствует император Вильгельм!» В конце 1920-х, когда даже шепоток против советской власти мог очень дорого стоить, Тиняков... Впрочем, об этом позже, и это, наверное, самое важное, что он сделал в своей *неполучившейся* жизни...

Вторая его статья - значительно меньшая по объему - вышла 28 октября 1913 года, в день, когда суд над Менделем Бейлисом окончился полным его оправданием. Известно, что в начале ноября Тиняков отправил в «Земщину» еще одну статью, которая не была напечатана, после чего отбросил псевдоним Александр Куликовский и вернулся в «Речь» и другие либерально-демократические издания.

А что касается уверения Бориса Садовского, что он «никогда никакого отношения к „Земщине“ не имел» и что сблизился с одним правым профессором «исключительно на почве долговременного изучения поэта-классика», то он попросту врал. Сохранились письма к нему *правого профессора* Бориса Никольского. И вот одно из них:

26 сентября 1913

Многоуважаемый Борис Александрович,

прилагаю статью Тинякова, смелую и симптоматичную, с двумя моими замечаниями карандашом. Оба места легко переделать. Во всем остальном заявить ничего не имею.

Очень буду рад видеть у себя Тинякова. Захватите его как-нибудь с собою. Может быть, вместе с ним подумаете о нашем разговоре касательно единения правых.

Всегда готовый Вам к услугам

Б.Никольский

* * *

Реакция на статьи в «Земщине», «Исповедь антисемита» и дальнейшие оправдательные выступления Александра Ивановича была куда значительней, чем на его «*Navis nigra*». Появились публикации в печати, последовала бурная переписка литераторов, да и политических деятелей. В основном же обсуждали в разного рода *кружках*, что зафиксировано в дневниках современников. В общем, по крайней мере Петроград – бурлил.

Вардван Варжапетян в своей повести «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи» приводит голоса многих участников тиняковской истории. Вот журналист Илья Василевский, больше известный как Не-Буква, скрывшийся на сей раз под псевдонимом И.Накатов в «Журнале журналов» (1916, № 5). Статья называется «Меж двух алтарей», и, по-моему, это самый разумный и здравый голос в том бурлении:

В своем письме в редакцию «Журнала Журналов» (имеется в виду «Исповедь антисемита». – *Р.С.*), которое, как тяжелый булыжник, упало на спокойную гладь нашего литературного озера, г. Александр Тиняков предупреждает, что он хлопочет не о «жалости», а о справедливости. Прекрасно, будем к нему только справедливы.

<...> В своем письме он все время подчеркивает, что поступал «необдуманно, но искренно и, в сущности, честно». Вот этой-то именно искренности и честности при всем желании нельзя найти в его письме. Прежде всего, сколько ни трудись над перечитыванием письма, остается неясным, окончательно ли порвал Тиняков со своим антисемитским прошлым, или нить, связывавшая его в дни процесса Бейлиса с «Земщиной», не порвана. С одной стороны, он говорит о возможности постепенных изменений убеждений и о переворотах, которые вполне возможны у мыслящих людей; с одной стороны, он признает, что «несколько лет тому назад временно шел по ложному пути озлобленного юдофобства» и свое прошлое считает «печальной юношеской ошибкой»; с другой же стороны, он тут же рядом с каким-то задором похвастается, что «ничего позорного в моем участии в „Земщине“ до сих пор не вижу». <...> Юдофобство он, по-видимому, все же не осуждает, как символ веры, – он только признаёт его «явлением

недостаточно разумным», и не потому что в нем мало здравого смысла вообще, а потому что «у русского народа нет основательных причин для того, чтобы придавать слишком большое значение еврейскому народу». Невольно является подозрение, что Тиняков предусмотрительно оставляет себе лазейку. И собственно, не одну, а две лазейки: в ту и в другую стороны. <...> Он сам, впрочем, указывает «во-вторых» (об этом следовало бы указать во-первых), что «ни о каком „коренном“ перевороте... нельзя говорить просто потому, что в „Земщине“ я писал о событиях исключительно общественных, а в „Речи“ о явлениях исключительно литературных». Т. е.? Как это понять? В том ли, может быть, смысл, что против своих прежних антисемитских проповедей он доселе не прегрешил в прогрессивных изданиях ни единым звуком и, значит, вправе всегда их повторить с гордо поднятой головой?.. <...> Прогрессивному лагерю нет смысла травить литератора за «печальную юношескую ошибку». Какая, в самом деле, выгода гнать от себя даровитого человека в марковское (имеется в виду Николай Евгеньевич Марков, издатель «Земщины». – *Р.С.*) стойло? И нет сомнения, что только тогда, когда связь с прошлым будет порвана безоглядно и безвозвратно, Тиняков не встретит перед собою безжалостных фанатиков, мстительных и непрощающих, и перед ним откроются все закрытые ныне двери.

А вот из опубликованного 25 марта в газете «День» фельетона «Неустойчивость» Давида Заславского (тот еще фрукт, как окажется много позже, – автор статей, шельмовавших Мандельштама и Пастернака, в печально знаменитой статье «Сумбур вместо музыки» обличал Шостаковича в антинародности и формализме):

Были прежде такие люди, которые назывались ренегатами, но этот тип в литературе явно вымирает. Казалось, что ренегат может вызывать к себе только презрение. А теперь, пожалуй, с некоторой симпатией оглядываешься на эту категорию литературной уголовщины. Были все-таки у людей убеждения, и, стало быть, изменяли они убеждениям, и, стало быть, знали, что изменяют, и нелегко давалась им измена. А тут на смену им пришел молодой человек, который действительно ничему изменить не может, который и не изменял ничему, и, стало быть, каяться ему не в чем. И знает молодой этот человек, что, даже нарушив некоторые приличия, он может все-таки рассчитывать на снисхождение, что времена пошли теперь другие, не строгие <...>. Пусть не унывает Александр Тиняков. Талантливые люди, которым нечему изменять, не пропадут в наше время.

Принял в тиняковской истории участие и Андреев. Николай Богомоллов в предисловии к публикации писем Зинаиды Гиппиус Тинякову сообщает об андреевском «Письме в редакцию» газеты «Биржевые ведомости» (1916, 23 марта). По разным причинам мне пока не удалось добраться в наших крупнейших библиотеках до этого «Письма», но отклик на него (довольно-таки едкий) я нашел в газете «Речь» (1916, 24 марта). В нем автор, избравший псевдоним Скептик, сообщает, что Леонид Андреев рекомендует «Речи» быть осторожнее с Тиняковым, ибо тот «печатал в „Земщине“ антисемитские статьи, в чем не находил впрочем особого греха». А напечатал свое обращение Андреев в «Биржевых ведомостях», где сотрудничал Борис Садовской, который, по словам Тинякова, увлекал его «на провокаторский путь». «Где же та... осторожность, в требовании которой г. Андреев проявил так много инициативы?» – вопрошает Скептик.

Вот такая пикировка между конкурирующими изданиями, в которой разоблачение Тинякова стало, судя по всему, лишь поводом.

* * *

Впрочем, для близких к Тинякову людей его антисемитские настроения не стали новостью. Из писем поэта Ивана Рукавишникову Александру Ивановичу:

18 ноября 1913-го: «...А Ваши „правые убеждения“ – это продукт чисто русский, местный. Поживите за границей годика два. Тогда вкусы переменятся, и поговорим».

15 января 1914-го: «...И что это Вы все антисемитствуете? Если всерьез, то ведь это в конце концов дискредитирует Вашу образованность. Когда хорошенькая дамочка говорит: – я люблю собачек, а кошек ненавижу, – это куда ни шло, даже может быть мило. Но эта же фраза в устах профессора зоологии нелепа. То же должно сказать и о национальном вопросе».

А вот из письма Зинаиды Гиппиус Тинякову от 30 декабря 1915-го:

...Вы меня спрашиваете, как отнесусь я к вашему, вот такому-то, прошлому. Вы даже предполагаете, что, быть может, я «не захочу вас видеть». <...>

Понимая ваш путь, ваши переходы и то, что вас толкало к Розанову, к Бор. Никольскому и т. д. – я не только не могла бы предать вас за него остракизму (Пешехонов я, что ли? Ленин?) – но и за более опасное ваше плавание в черной реке не сумела бы поставить на вас крест. Например, если бы во времена близости вашей к Розанову последний убедил, соблазнил вас написать антисемитическую статью в каком-нибудь «Русском Знамени» и поместил бы ее там хоть без имени, – что бы этот факт прибавил или убавил для меня? Ровно ничего. <...>

Вопрос еврейства так глубок сам по себе, что стыдно подходить к нему, не отмыв себя начисто от всякого «анти»-семитизма.

Тиняков же пишет Ремизову 14 января 1914 года:

«Либо мы сохраним нашу Расовую Арийскую душу, наши церкви и нашу культуру, – либо потеряем всё и подпадем под власть дьяволопоклонников-жидов и масонов. Да не будет второго».

Но все это в переписках, в частных разговорах. Дружеские, товарищеские дискуссии.

«„Исповедь Антисемита“ и сопутствующие ей обстоятельства представили Тинякова в свете столь неприглядном, что и симпатизировавшие ему люди вынуждены были от него отвернуться», – пишет Юрий Колкер в предисловии к публикации писем Ходасевича Тинякову^[12]. Не совсем так. И после «Исповеди...» практически никто от Александра Ивановича не отвернулся.

Такое печально-нежное письмо отправила ему Зинаида Николаевна Гиппиус 24 марта 1916-го:

Я не то что осуждаю вас, Александр Иванович, но мне очень грустно на вас смотреть. Если вы «довольны и счастливы» – тем грустнее. Не оттого, что «мудрость печальна», а оттого, что вам не от чего быть сейчас собою довольным. Да и всё у вас надрыв. Ослепли и путаете, смешиваете и важное, и неважное, без перспективы. <...>

Я повторяю: ни ссориться с вами, ни «запрещать» вам что-либо – намерения не имею. Если бы вы слушались советов – я бы вам их давала. Но вы их не слушаетесь, значит – бесполезно. Смотрю на вас совершенно иначе, нежели вы сами на себя. Даже обратно. Т. е. ваши поступки и ваши «страстишки» (вроде «заведу драку» и пр.) я считаю вредными, – слегка для других, весьма для вас самого; и мелкими: неумными даже, почти «провинциальными», вроде скандальчиков губернского чиновника в подпитии. Но вас самого – я считаю человеком талантливым, с хорошими возможностями. Я вижу вашу правду, даже когда вы лжете и выкручиваетесь, и тем более мне грустно и жалко... не вас, а вот эту обиженную правду, вами в вас попираемую. Почти попанную. <...>

Видите, мы смотрим совершенно противоположно на одного и того же человека, – на вас. Кто-нибудь ошибается. Но тут уж надо сказать открыто: ошибаетесь вы. Не я.

Тинякова принимали Алексей Ремизов, Александр Блок; кажется, ему действительно готовы были простить «печальную юношескую ошибку» если не все, то многие либеральные и *беспартийные* издания. Но

Александр Иванович продолжал оправдываться так, что это напоминало нападение. А потом и вовсе пошел вразнос.

* * *

Семнадцатого апреля 1916 года в «Земщине» появилось открытое письмо (адресованное формально редактору газеты) за подписью уже никакого не Куликовского, а лично Александра Тинякова. Цитирую:

...Поскольку *иудаизм* является выражением семитического духа и поскольку *христианство* является преодолением и отрицанием иудаизма, – постольку я и до сих пор являюсь антисемитом, и впредь таковым останусь и от Иисуса Христа не отрекусь.

<...> Я никогда не позволю себе бросить камень в его (Андрея Ющинского. – *Р.С.*) могилу, как это сделал недавно г-н Горький, который погибшего, несчастного, замученного мальчика со злою насмешкою назвал «вороватым» (Сборник «Щит», изд. 1916, ст. 58, строчки 7–8 сверху). Г-н Горький не назвал, правда, имени Ющинского, но что его намек направлен именно в эту сторону, ясно для каждого, кто знаком с «либеральной» литературой по этому вопросу. Укажу для примера на книгу г. Бонч-Бруевича – «Знамение времени» (Спб, 1914), где на первых же страницах «любвеобильный» автор называет убитого мальчика «юношей, на которого воровская шайка возлагала много надежд» (стр. 3). <...>

Как ни незначительно мое литературное имя, – из истории, случившейся со мной, – можно ясно видеть, что вся прогрессивная печать в России находится в еврейских руках, вследствие чего все дурные стороны еврейства, несомненно существующие, замалчиваются. Я же не вижу никаких разумных оснований для того, чтобы рабствовать перед евреями и потворствовать их деспотическим замашкам. Указание на то, что евреи находятся в стесненном положении, «не имеют прав» и вследствие того бессильны, – рассчитано на людей очень глупых или, по крайней мере, мало думающих. Для тех же, кто желает и способен подумать над «еврейским вопросом», – сразу должно быть видно, что евреи – не слабы, а напротив того – представляют собой огромную силу и силу, несомненно, враждебную как нам, русским, так и всем индоевропейцам.

Это письмо Тиняков послал Ремизову, Блоку, Сологубу, Мережковскому, Горькому «и нек. др. лицам».

На следующий день Александр Блок ему ответил (письма этого нет в знаменитом собрании сочинений Блока 1960-х – понятно почему):

Многоуважаемый Александр Иванович.

Мы с Вами почти одинаково думаем о евреях. Я не раз высказывал и устно и письменно (хотя и не печатно) – евреям и неевреям – мысли, сходные с Вашими; иногда и страдал от этого, хотя далеко не так, как Вы.

Возразить могу только вот что: как ни удивительно, что «Земщина» поместила письмо со столькими левыми оговорками (правда, я знаю «Земщину» только с чужих слов), – все-таки я не стал бы печатать подобные заявления в такой газете <...>.

Не будем назначать дней и часов; просто, если вздумаете, зайдите ко мне когда-нибудь часов около 6-ти; почти всегда (кроме воскресений) мы в этот час обедаем дома.

Всего Вам хорошего, жму Вашу руку.

Тиняков послал Блоку ответное письмо:

...Евреи сумели крепко связать себя с освободительными движениями русского общества, внушив «большинству» мысль, будто еврейство – сила прогрессивная. На самом же деле еврейство – сила только внешне – революционная, а революционные движения не всегда бывают прогрессивны, но, по большей части, только конвульсивны и, как таковые, они часто ведут не к возрождению, а к ослаблению народных сил, и, следовательно, считать Революцию непременно составной частью общественного прогресса – нельзя. Не думаю, чтобы Гете или Толстой были враждебны прогрессу, но вряд ли у Революции найдется много столь серьезных противников, как они.

Работать в правых газетах мне будет, вероятно, нелегко и многим придется «поступиться», – но пусть пропадет моя личная литературная «карьерка», – лишь бы удалось сделать хоть что-нибудь для укрепления в правой прессе литературного отдела.

В те месяцы Александр Иванович редко писал стихи. Вот одно из немногих:

Безысходней	гроба	мое	одиночество	—
(До жизни, и в жизни, и в смерти самой!) —				
И нет ни единого в небе пророчества,				
Что новое солнце взойдет надо мной.				

Ты не дал мне, Боже, любви человеческой,				
И вот без нее не могу я понять				
Ни воли Твоей, и ни ласки Отеческой,				
И мне не желанна Твоя благодать.				

Любовь	Твоя,	Господи,	сердца	не	радует,
И ты	мне	навек,	навек	чужой	—
И в	адские	пропасти	медленно	падает	
Душа,	не	согретая	лаской	земной.	

* * *

Укреплять в правой прессе литературный отдел Тиняков решил со статьи «Русские таланты и жидовские восторги», опубликованной в «Земщине» 22 апреля 1916 года. Статья интересна как квинтэссенция настроений, царивших и царящих в умах и чувствах немалой части нашей творческой братии:

Отдельных талантливых людей больше всего ценят бездарные народы. Народу же, который весь – в целом своем – талантлив, отдельный одаренный человек дорог лишь в том случае, если он при помощи своего таланта трудится и создает что-либо воистину полезное.

Вот почему бесспорно даровитый русский народ весьма скуп на похвалы и восторги по адресу отдельных талантов. Заслужить еврейскую похвалу, наоборот, очень легко: спел человек звонкую песенку, настрочил хлесткую статейку, намалевал замысловатую картинку – готово дело! – еврей уже кричит о новом «гении». Очень понятно, почему они так делают: нищему каждый встречный, у которого нет сумки за плечами, кажется богачом... <...>

Для подтверждения нашего рассуждения весьма показателен «случай с Есениным».

Приехал в прошлом году из Рязанской губернии в Питер паренек – Сергей Есенин.

Писал он стишки, среднего достоинства, но с огоньком и – по всей вероятности – из него мог бы выработаться порядочный и полезный человек. Но сейчас же его облепили «литераторы с прожидью», нарядили в длинную, якобы «русскую» рубаху, обули в «сафьяновые сапожки» и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот, позоря имя и достоинство русского мужика, пошел наш Есенин на потеху жидам и ожидовелой, развращенной и разжиревшей интеллигенции нашей. Конечно, самому-то ему любопытно после избы да на эстраде, да в сафьяновых сапожках... Но со стороны глядеть на эту «потеху» не очень весело, потому что сделал Есенин из дара своего, Богом ему данного, употребление глупое и подверг себя опасности несомненной. Жидам от него, конечно, проку будет мало: позабавятся они им сезон, много – два, а потом отыщут еще какую-нибудь «умную русскую голову», чтобы и в

ней помутить рассудок. И останется наш Есенин к 25-ти годам с прошлым, но без будущего. А сие нелегко... И таких горьких примеров вокруг нас очень много: достаточно упомянуть о г. С.Городецком, которого жиды к 20-ти годам прославили, как гения, а к 30-ти заклевали и «похоронили».

Хотелось бы всем этим юношам, падким на похвалу иудейскую, сказать, как друзьям и согражданам своим:

«Не верьте вы, братцы, жидовской ласке и не гонитесь за дешевой газетной славой. Не на то вам дал Господь зоркие очи и чуткие сердца, меткую речь и певучую песню, чтобы вы несли их на потеху и усладу жидам. Давши вам дары, Господь возложил на вас тем самым и труд, и призвал вас к деланию добра. <...>

От вас, „Есенины“, требуется большее. И чтобы сделать это большее, надо не по эстрадам таскаться, а в тишине и близости к родному народу работать над развитием и раскрытием данных вам духовных сил.

Не тратить своих дарований зря, не менять их на „сафьяновые сапожки“, не продавать их за „хлопки“ безмозглых „курсих“, но хранить в себе до поры, как святыню, чтобы в должный час отдать их родному народу, чтобы выразить в песне и слове не свой личный „стихотворческий зуд“, а чтоб выразить душу народную, чтобы спеть и сказать о народе и для народа некую суровую и любовную правду, в которой кипели б соленые мужицкие слезы и билось бы сердце крестьянское, любовью богатое, правдою – светлое, верою – крепкое»...

Но как неразумные бабочки на огонь, летят Есенины, Андреевы, Городецкие на обжигающий свет Иудиной ласки. И падают опаленные, и ползают во прахе, вымаливая хоть «корочку славы» у всемогущего рекламиста еврея...

Но за чертою жидовской эстрады жива еще бесконечная, смиренная и сильная Русь, и жив еще тот мужик Марей, «с запачканным в земле пальцем» и «с материнской улыбкой», который успокоил и утешил когда-то великого писателя нашего – Ф.М.Достоевского.

Мужик Марей восхищаться звонкими стишками, пожалуй, не станет, но зато и «волку» в обиду ребенка не даст – и когда этот ребенок, ложной славой опаленный, усталый, детские силы свои растерявший, склонится к ногам жестокого «волка», – он услышит вдруг забытый ласковый голос: «Христос с тобой!» И корявая, грубая, в земле запачканная рука поднимет его бережно и укажет ему на небо, где сияет вечное Христово Солнце, а не скудные огоньки жидовских эстрад!

Данных о том, что Сергей Есенин прочел эту статью, что они с Тиняковым были знакомы, нет (два коротких инскрипта Тинякову могли быть написаны Есениным на своих книгах *в числе прочих* после публичного выступления), но не исключено, что статья стала тем семенем, из которого позже вырастут антисемитские припадки Есенина

в Москве и Нью-Йорке. Да и идеология новокрестьянских поэтов во многом схожа с этим тиняковским *трактатом*.

«Русскими талантами...» Александр Иванович окончательно похоронил себя для тогдашнего передового общества. Откликов на статью, кажется, не последовало. Всем всё стало с Тиняковым ясно.

Уже в наше время в книге «Есенин. Русский поэт и хулиган» Людмила Поликовская задалась вопросом: «Это кто же, по мнению Тинякова, „ожиговел“? Уж не русский ли от пят до кончиков волос Сергей Городецкий? Впрочем, удивляться не приходится: юдофобы имеют обыкновение причислять к „жидам“ или „ожиговелам“ всех, кто им не по нраву. А может быть, он имел в виду С.Чацкину и Я.Сакера, издателей журнала „Северные записки“, обласкавших еще неизвестного поэта, напечатавших его поэму „Русь“ и повесть „Яр“ и ни сном ни духом не причастных к его маскарадам»^[13].

Новокрестьянские поэты отчасти сами ответили на эти вопросы. Но об этом – ниже.

* * *

Итак, тиняковская история завершилась. Прогрессивные простили дворянина во втором поколении Садовского (Блок поцеловал, Ходасевич написал ему письмо, где есть такие слова: «Оправдывал я Вас тем, что многое, по-моему, Вы делаете „так себе“, а может быть, и с беллетристическим и ядовитым желанием поглядеть „что будет“, понаблюдать того же Тинякова, ради наблюдения мятущейся души человеческой. Правда, это немножко провокация, но почему-то не хочется (а не нельзя) судить Вас строго»), Тиняков же стал изгоем. В «Земщине» тоже не задержался – его там «всячески третировали», как напишет он в «Отрывках из моей биографии».

К сожалению, я не включил все доступные мне материалы по этой истории (за бортом, например, оказалась умная статья «Тартюф. К сведению А.Тинякова» поэта Алексея Лозина-Лозинского (псевдоним «Я.Любяр»), но она, история, оказалась лишь эпизодом в долгой (хотя и умер он в сорок семь лет) путаной жизни героя моей книги.

Дольше всех поддерживал с Александром Ивановичем отношения Ремизов. Вот его записка от 26 апреля 1916 года:

Дорогой Александр Иванович!

Завтра 27-го часа в 4-е можете зайти к нам.

А.Ремизов

Да захватите № Земщины, где про Есенина написали.

А 14 мая из письма Тинякова Ремизову мы узнаём, что автор знаменитой «Посолони» прекращает с ним отношения: «...Теперь

порывается у меня последняя связь с литературным миром. <...> От природы я не настолько зол. Вот я писал вам о „лютой ненависти к масонам“, а после получил приглашение из „Ист. Вестн.“, и моя „ненависть“ уже потеряла свою „лютость“, и я готов забыть о всех масонах в мире, – лишь бы дали мне работать, лишь бы дали мне работать!»

Дальше страница оправданий, схожих с прошлыми *исповедями*, но куда более мягких по тону. Заканчивается письмо сведениями, полезными для выстраивания биографической канвы Тинякова:

«В начале июня думаю все-таки поехать к отцу, – хотя я надежды на то, что он даст мне денег на издание книги – не имею. Да если и даст, – посоветоваться мне теперь не с кем, сам я ничего „практического“ не умею и могу деньги прожить».

Примечателен и постскриптум: «Рецензия на „Пряник“ вчера не вышла».

Чья рецензия (самого ли Тинякова или кого другого) – не знаю. Речь, полагаю, о коллективном сборнике «Пряник осиротевшим детям», изданном в начале мая^[14]. Среди авторов Блок, Ахматова, Зинаида и Владимир (под псевдонимом «Вл. Бестужев») Гиппиусы, Замятин, Садовской, Ключев, Есенин, Николай Рерих, Георгий Иванов, Ремизов, Рюрик Ивнев... У большинства по одной вещи, у некоторых по две, лишь у Тинякова – три: уже приведенное мной стихотворение «Безысходней гроба мое одиночество...», стихотворение «Два пути» («Для слабого – путь отречения, / Для сильного сладостен бой / И острая боль поражения, / И миг торжества над Судьбой. // Для слабого – мудрые речи, / Безбольно мертвящие кровь, / Для сильного – музыка сечи / И взятая с бою – Любовь!») и рассказ «Пропавший».

Рассказ довольно большой для второго серьезного опыта в прозе (первым была повесть «Старый редактор», которая, по оценке самого Тинякова, получилась *очень плохой*).

Содержание «Пропавшего»: сыщик, а точнее шпик по фамилии Дыркин влюбляется в девушку Христину Чабренко, за которой ухаживает студент Свистунов, сын богатого купца. Студент подозрительный, да и ревнует Дыркин, поэтому решает доложить о нем начальству. Начальство бьет по столу кулаком: «Ты, паскуда, знать должен, что он в Союзе членом состоит!..» (Судя по всему, в одном из черносотенных союзов.) На другой день и сам студент встречается Дыркина, показывает ему *союзный значок* и сует в руку три рубля.

Дыркин уходит в длительный запой, его увольняют со службы, он становится нищим. Купец Парамонов предлагает Дыркину сколоть «ледок со двора». Тот с радостью соглашается. Весной Парамонов отправляет Дыркина в свое имение ночным сторожем. И вот финал:

Сначала Дыркин оробел на непривычном для него деревенском просторе и опасливо поглядывал на широколобых коров, на свирепых, шершавых собак и на медлительных мужиков. Но скоро страх прошел и полюбился ему животворный запах теплого навоза, гоготанье гусей на заре и неторопливо-истовый мужицкий труд. Дьявольским наваждением казалось ему все прошлое, когда, обойдя спящую усадьбу, садился он на крылечке и подпадал под власть воспоминаний. Но не длинные и не яркие были теперь его воспоминания; над ним дышало звездное небо, ракиты шумели, квакали на плотине лягушки, лаяли за усадьбой собаки – и мирные звуки мирной жизни заглушали память о больном и тяжелом.

– Слава Тебе, Господи Милостивый! – шептал он и чтобы прогнать дремоту, шел, посвистывая, по безлюдной усадьбе. Сладко пахло цветущей сиренью из сада, сладко зудели мозоли на корявых руках.

Тиняков не раз поругивал Леонида Андреева, но рассказ получился как раз в духе андреевских рассказов конца 1890-х – первой половины 1900-х. Может быть, поэтому, еще до выхода сборника, «Пропавшего» отметил *первооткрыватель* Андреева Максим Горький.

Александр Иванович тут же обратился к нему за советом: «...Быть может, Вы соблаговолите сказать мне несколько откровенных слов о том: есть ли, по Вашему мнению, у меня вообще способность к художественному творчеству или же выше анекдота не пойду? <...> Я за карьерой беллетриста не гонюсь, но если понимающие люди, как, например, Вы, – найдут в моих писаниях нечто неглупое и живое, то отчего же и не поработать?»

Горький отвечал: «...Беллетрист ли Вы? Я почти уверен в этом. Читая Ваши рецензии, я вижу в них прежде всего беллетриста. И если позволите советовать – советую: пишите рассказы. Очень советую».

В своих «Отрывках...» Тиняков вспоминает: «Ремизов прямо уговаривал меня бросить газетную работу и отдаться беллетристике; старый революционер Ф.И.Щеколдин († 1919) также очень одобрял мою вещь, а один начинающий тогда беллетрист в письме к Ремизову писал, что один мой рассказ стоит больше, чем вся книга Евг. Замятина „Уездное“. Но я не внял ничьим советам и остался газетным работником».

* * *

Чем занимался и чем жил Александр Иванович с лета 1916 до весны 1918 года – покрыто мраком. От того периода почти не осталось писем, или они пока не пущены в оборот.

Вот из тех, что хранятся в фонде Тинякова в Российской национальной библиотеке. Как истинный символист, Тиняков сохранял не только сами письма, но и конверты. Судя по ним, жил он на Малом проспекте Васильевского острова.

Ремизов отношения с ним вроде бы прекратил, но в записке от 10 октября 1916-го, после жалоб на бытовую неустроенность, Алексей Михайлович предлагает Александру Ивановичу *заходить*. Простой вежливостью это объяснить сложно: Ремизов, назвавший Тинякова *поперечным*, сам никогда не был *продольным*. (И, судя по дневнику Ремизова, тот к нему *заходит*: 6 марта 1917-го «с покаянной» и 4 апреля.)

В мае 1917-го возобновляется переписка со старым приятелем поэтом Иваном Рукавишниковым. Рукавишников живет вдали от столицы – по иронии судьбы, что ли, – в селе Богородицком, правда, не Орловской, а Нижегородской губернии.

Рукавишников уговаривает Александра Ивановича бросить Петроград и уезжать в глушь; в то, что Тиняков занят работой, – не верит. По своему обыкновению, Иван Сергеевич много шутит, иронизирует, философствует... Расшифровывать дословно письма я, признаюсь, поленился: у их автора ужасный почерк. Выписал вот это: «Всякая современность сложившемуся человеку неприятна». Простенький, но – афоризм.

Кроме писем Рукавишникова (к нему я вернусь – он еще сыграет немаловажную роль в жизни Тинякова), к корреспонденции 1917-го относится письмо от редактора «Исторического вестника» Бориса Борисовича Глинского, в котором сообщается, что журнал «прекратил временно прием новых рукописей» «в виду переживаемого... кризиса со стороны возможности издавать его в 1918 г.».

Письмо датировано 13 октября. Из биографии Глинского мы узнаём, что он поддержал корниловский мятеж, был арестован, а редакция журнала разгромлена. За несколько дней до ответа Тинякову Глинского освободили, а в декабре того же года он умрет. Журнал прекратит существование (вернее, последний номер вышел еще в августе).

Тиняковских публикаций во второй половине 1916-го и в 1917-м мне обнаружить не удалось, кроме как в том же «Историческом вестнике»: в декабрьском за 1916 год номере вышла его большая рецензия на «биографический набросок» А.Измайлова «Чехов», в апрельском за 1917-й маленькая – на книгу А.Рязановского «Демонология в древнерусской литературе», которая заканчивается так: «...г. Рязановскому не удалось поколебать весьма ценного (и отрадного) мнения Ф.И.Буслаева о бедности национальной русской демонологии». Достаточно бегло полистать этот номер «Исторического вестника», чтобы увидеть: демоны, по крайней мере с точки зрения авторов журнала, рождаются на глазах...

Практически нет и стихотворений того периода. Вот датированное сентябрем 1916-го. По-моему, одно из сильнейших у Тинякова, по-настоящему искренних:

Все	равно	мне:	человек	и	камень,
Голый	пень	и	свежий	клейкий	лист.

Вечно ровен в сердце вещий пламень
И мой Дух непобедимо чист.

Всем терзаньям, всем уладам тело
Я без сожаленья отдаю,
Всем соблазнам я вручаю смело
Душу преходящую мою.

Мне уже не страшно беззаконье,
Каждый звук равно во мне звучит:
Хрюкнет ли свинья в хлеву спросонья,
Лебедь ли пред смертью закричит.

Уж ни жить, ни умирать не буду,
Стерлись грани, дали, времена,
Только Я – Один во всем и всюду,
А во Мне – лишь свет и тишина.

Известно, что Тиняков попытался выпустить вторую книгу стихотворений, но то ли отец на сей раз денег не дал, то ли не нашелся издатель... Книга должна была называться сначала «Поругание любви и веры», а потом «Весна в подполье». Большую часть стихотворений спустя шесть лет Тиняков включит в «Треугольник». О нем в свое время. А сейчас о не включенных.

Основная их мысль: развращающий, губящий человека и всё живое город и благодатная, живительная природа. Вот один из примеров этого противопоставления:

Пасущийся в полях, беспечно-мудрый скот,
И пахарь за сохой, и бабочка над лугом, —
Со всеми вами в лад душа моя поет
И сердце мне велит быть вашим добрым другом.

Вы созданы, как я; мы в должный час умрем;
Мы дышим, и живем, и радуемся вольно;
Усталость нас дарит отдохновенным сном;
Нам сладко от любви; нам от страданий больно...

Когда же вижу я машин стальную плоть
И страшную в них жизнь, – бессмысленно-тупую, —
Тревоги я в себе не в силах побороть,
И тяжкий, темный страх я перед ними чую.

Когда аэроплан сквернит святую твердь,

Я думаю в укор безумному народу:
От Бога сладостней приять и труд, и смерть,
Чем взять у сатаны бессмертье и свободу.

Я мыслю:дохлый пес, что тлеет и смердит,
Прекрасней и живей, чем та стальная муха,
Которая сейчас под тучами парит,
В которой нет любви, и разума, и духа!

Датировано: «март 1914. Петербург».

Рядом с ним уже цитированная «Цивилизация». А вот длинное стихотворение «Мой прадед». Оно не стоит того, чтобы приводить его здесь полностью. Как образчик – две строфы: «Он в будни мерно за сохою / Шагал в ликующих полях, / А в праздник – с песней удалю – / Гулял и гикал в кабаках. // В избе, пропахшей горьким дымом, / Под ледяной метельный смех, / Он, как медведь, дремал по зимам, / Закутавшись в овечий мех».

Любопытно, что стихотворение, написанное еще в Москве в августе 1912-го, предваряет эпиграф из того самого Бориса Никольского: «Мой род не знатен и не громок, / Ему неизвестна глушь веков, / Но я моих отцов потомок / И я люблю моих отцов». Правда, опубликован был «Мой прадед» в «Новом журнале для всех» (1913, № 10) без эпиграфа...

Продолжает поэт Тиняков увлекаться восточными религиями («За книгою Шри Рамакришны»), смертью, пороком, изучает любовь и плотскую, и духовную... В целом «Весна в подполье» повторила бы «Navis nigra», как в целом повторит дебютную книгу «Треугольник», изданный в 1922 году, когда Александр Иванович чуть ли не победителем вернется в литературный мир Петрограда (который многие тогда снова стали называть Петербургом). Тиняковская история не то чтобы была забыта, а заслонена другими, куда более значительными событиями.

* * *

«25 октября 1917 года совсем обнищавший поэт отбыл в родной Орел...» – сообщает в предисловии к тиняковской книге «Стихотворения» Николай Богомолов.

Не знаю, как он установил столь точную дату (в дневнике Ремизова за 1917-й год читаем: «4.xii. <...> Сегодня было великое нашествие». В числе посетителей и фамилия Тинякова), но так или иначе с 1 мая 1918 года в орловской газете «Известия совета рабочих и солдатских депутатов» начинают печататься статьи, заметки, рецензии,

стихотворения, подписанные в основном «Герасим Чудаков». Позже Тиняков сам признается, что под этим псевдонимом писал именно он. Итак, в годы Гражданской войны Александр Иванович жил сначала в Орле, затем в Казани. Писал статьи о революции, революционном искусстве, откровенно подражая блоковской «Интеллигенции и революции»; выступал против антисемитизма («Позор и беда тем темным людям, которые поверят буржуазной клевете и начнут думать, что всякий еврей – враг. Пора уже забывать о разделении людей на евреев и русских и т. д., пора вспомнить, что каждый человек есть прежде всего человек!»); печатал рецензии, где клял и высмеивал своих бывших кумиров: Валерия Брюсова, Зинаиду Гиппиус, Дмитрия Мережковского, даже Блока задевал. Сочинял рифмованные агитки, к примеру:

Революции		грозная		сила
Пред	собой	не	знает	препон:
В	феврале	она	в	щепки
Николая		Бездарного		разбила
В	октябре	она	смелым	ударом
Соглашателей		свергла	во	прах,
И	по	села	промчалась	пожаром,
И	огнем	расцвела	в	городах.
В	этом	огненно-грозном		прибое
Гибнет	старый,	палаческий		строй,
Но	спасается	в	нем	всё
Воскресает		народ		живое:
				трудовой...

Он не поместит их в свои сборники. Там будут совсем другие стихи.

Николай Богомолов разыскал десятки публикаций Тинякова в орловских, казанских и петроградских газетах 1918–1924 годов, собрал их названия и даты публикаций в «Материалах к библиографии А.И.Тинякова»^[15].

Выделяются две статьи под общим названием «Корни контр-революции» от 10 и 18 сентября 1919 года, в которых Антип Хлыстов (более чем вероятно, один из тиняковских псевдонимов) требует обратить внимание «Ч.К.» на И.М.Тинякова – Ивана Максимовича, отца героя моей книги. Чекисты, видимо, не успели этого сделать, так как к городу подходила Добровольческая армия; 13 октября она заняла Орел. (Иван Максимович умер в 1921-м, мать Александра Ивановича, Мария Лукинична, скончалась как раз в 1919-м.)

Но Тиняков с октября уже в Казани. Активно публикуется в тамошних «Известиях» вплоть до конца сентября 1920-го. Чего стоят одни только названия: «Надо бить до конца», «В наступленье!», «Надо уничтожить

дезертирство», «Колчак добит!», «С панами надо кончать!», «Винювники разрухи».

И стихотворные строфы, множество строф: «Раньше было в мире так: / Тунеядец жил царем, / А трудящийся бедняк – / Вековечным батраком»; «Веют знамена труда и свободы, / Вьются, под небом весенним пылая, / Празднуют нынче повсюду народы / Первое Мая!»; «В грядущем году, как и в старом, / Восставший народ трудовой / Ответит могучим ударом / На каждый удар боевой»; «Едва успевши выйти из вагона, / Товарищ Ленин крикнул: „В бой!“ – / И всколыхнулись красные знамена / Над всею Русью трудовой!»; «Ты ворует? Грабишь склады? / Пьян и весел ты всегда? / Жди же, милый друг, награды / От Народного суда!»

По-моему, слабо, неискренне.

И стихи на темы, что когда-то возмущали рецензентов первой книги, тоже не впечатляют. Вот «Собаки», вошедшие во вторую тиняковскую книгу «Треугольник» и датированные «Ноябрь 1919. Казань»:

Немало		чудищ		создала		природа,
Немало		гадов		породил		хаос,
Но	нет	на	свете	мерзостней		урода,
Нет	гада	хуже,	чем	домашний		пес.

И дальше еще четыре строфы проклятий в адрес собачьего рода...

В Пушкинском Доме хранится фотография. Довольно молодой на вид – моложе своих тогдашних тридцати четырех, в отличном костюме-тройке, при галстукке, белая рубашка. Руки покойно сложены на круглом столике. И подпись: «Александр Тиняков. 16 марта 1920, Казань». Не скажешь, что еще идет Гражданская война, в Казанской губернии бушует крестьянское восстание, что повсюду разруха, голод. Фотография почти благостная, и человек на ней вполне мирный. Хотя есть во взгляде какой-то огонь – «ястребинка в глазах», которую подметил поэт Алексей Лозина-Лозинский еще в дни *тиняковской истории*. Впрочем, уверенности в том, что фотография сделана в то время, нет. Вполне возможно, что снялся Александр Иванович и раньше, может быть, еще до революций.

В «Отрывках из моей биографии» Тиняков предельно лаконично напишет об этом периоде: «Как выше я не касался вопроса о том, каким образом пришел я к крайним правым политическим взглядам, так и теперь не буду касаться вопроса о том, каким образом изменились эти взгляды под влиянием революции. <...> В 1918–19 гг. я работал в Орле, в 1919–20 гг. – в Казани, где, между прочим, выпустил в свет отдельными изданиями (за подписью Герасим Чудаков) книгу статей „Пролетарская революция и буржуазная культура“, антирелигиозную брошюру „Кое-что про Бога“ и маленькую брошюру „О значении искусств“ (все три – 1920 г.)».

Подробностей жизни Александра Ивановича в годы Гражданской войны нет. Остались стихи, статьи и книжки. Но наверняка в 1918-1920-м случилось немало приключений. Какой простор для воображения!

* * *

Сначала я хотел писать о публицистических книгах Тинякова (Герасима Чудакова) подробно – библиографические редкости как-никак, – но потом увидел, что все они выложены на сайте Российской национальной библиотеки в разделе «Электронная библиотека». Несколько ударов по клавишам ноутбука – и они у вас.

Поэтому останавлиюсь на первой книге, об остальных – достаточно бегло.

В «Пролетарской революции...», без сомнения самой значительной из этой тройки, пять разделов: «О ценности культуры», «Во власти классового бешенства», «На распутьи», «На путях смерти», «Революция и техника».

Она вышла в начале 1920 года, когда стало очевидно, что новая власть не стремится уничтожить прежнюю культуру целиком. И уж дореволюционную литературу тем более. В 1918-1919 годах огромными тиражами вышли книги не только Пушкина, Герцена, Некрасова, но и Гончарова, Тютчева, Александра Островского. Активно издавались (на государственные средства – военный коммунизм все-таки) и современные писатели, в том числе и те, кто не принял Октябрьскую революцию.

В своей же «Пролетарской революции...» Тиняков оказывается левее большевиков. Вот из первой статьи «О ценности культуры» (датированной апрелем 1918 года):

Поражая Николая, – мы поражаем явное уродство; восставая на Вильгельма, – мы восстаем на явного угнетателя, на видимый для всех железный кулак... Но медовые речи Гомера, но благородная прелесть Тютчевских стихов, но тончайшие изгибы мысли Достоевского, – ведь все это не уродство, а – красота, не железный кулак, а улыбка сирены!

И что же?

Да, вот на это-то самое мы и должны поднять теперь свою созидательную руку!

От теории – к практике. В следующей части – ряд рецензий, в которых Тиняков (Герасим Чудаков) громит произведения недавних своих знакомцев и их самих. Вот о Константине Бальмонте и его книге «Революционер я или нет»:

...Буржуазный поэт Бальмонт был и остался верен своему классу; он, в 1906 году восхвалявший рабочих, в 1918 году слился душой с белогвардейскими сворами, благословляет смертную казнь для рабочих на фронте и гордится тем, что его стихи любит вешатель-Савинков.

А вот о Зинаиде Гиппиус и ее сборнике «Последние стихи»:

Насколько враждебна народу буржуазия, настолько же враждебна ему и буржуазная интеллигенция. Артур Арну, описывая разгром парижской коммуны, говорит, между прочим, о том, что буржуазные дамы втыкали кончики своих зонтиков в зияющие раны еще живых рабочих («Мертвецы Коммуны»). Г-жа Гиппиус сама откровенно заявляет, что она из породы, как раз, этих дам. «Нагайки» и «хлысты» для народа, – это ее подлинные слова. <...>

Прибавить к ним почти нечего, – возгласы негодования в данном случае были бы только наивностью. Но можно и должно, ввиду подобных буржуазно-интеллигентских признаний, лишний раз напомнить трудовому народу, особенно пролетариату, – что стоит ему хоть на миг задремать, хоть на миг отступить – и буржуазная нечисть набросится на него и упьется народной кровью, и нагайка Савинкова захлещет по лицам рабочих, и зонтик г-жи Гиппиус начнет ковырять зудящие раны борцов за свободу.

«Последние стихи» З.Гиппиус ручаются за то, что – в бешенстве своем – буржуазия способна на всё.

Достается от автора «Пролетарской революции» Бунину («Дворянское сердечко»), Андрееву («Лакей в истерике»), Юрию Слёзкину («Клеветник»), Брюсову («Апология графомании»), не забывает Тиняков о своем гимназическом учителе Федоре Крюкове (работает у Краснова), о недавнем гуру – Дмитрие Мережковском, «который заразил своим старушечьим суеверием и мистицизмом чуть ли не всю интеллигентную молодежь и принес ей вреда больше, чем тысяча попов, взятых вместе». Есть в книге две статьи об Александре Блоке. Первая, «Революция, поэзия и Христос», как говорили раньше – размышления над поэмой «Двенадцать». По-моему, довольно оригинальные и смелые размышления, тем более Тиняков пишет о произведении, вышедшем в свет меньше года назад.

Блок – превосходный, истинный, быть может, гениальный поэт, но и все его стихи, и все его дела становятся воистину ничтожными, жалкими и бесцветными, в сравнении с багряным цветом тех ран, которые сейчас

получают на всех фронтах – не поэты, а самые простые, самые обыкновенные товарищи-красноармейцы.

Да! быть может, многие из них и гуляли в свое время с «Катками», быть может, они и были в своей прошлой будничной жизни и грубы, и пошлы, – но настал роковой час и они сразу поднялись на такую нравственную высоту, до какой вовеки не подняться ни одному «проливателю чернил», ни одному, – даже гениальному, – поэту. Они стали подлинными несомненными героями, и дело вполне честного и мудрого поэта – не в том, чтобы судить их, а в том, чтобы воспеть их дела и смиренно преклониться перед их неоцененной жертвой, перед их святым и чудесным подвигом.

Ал. Блок не отверг революцию: благо ему за это! Но он лукаво и тайно, прикрывшись маской художественного беспристрастия, попытался очернить тех, кто совершает революцию. Но, – как видим, – его суровый приговор не стоит ни гроша, жизнь властно отменяет его, как вполне неверный. И, как всегда бывает в таких случаях, – поэтический блеск произведения, ослепляющий на первых порах своей красотой, при более пристальном внимании к нему теряет свое обаяние, и мы видим, что этот блеск – мертвенный, что не солнце горит в сердце поэта, а могильные, бродячие, сатанинские огоньки, быть может, и красивые, но холодные, как те могилы, над которыми они загораются.

Выявляет Тиняков и «двусмысленность» финала блоковской поэмы:

...По Блоку, красноармейцы вовсе не идут за Христом, как это почему-то показалось Иванову-Разумнику; Христос для них «за вьюгой невидим», и непосредственно перед «закланием» мы читаем такие строки:

–	Кто	там	машет	красным	флагом?
–		Пригляди́сь-ка,		эка	тьма!
–	Кто	там	ходит	беглым	шагом,
Хороня́сь		за		все	дома?
–	Все	равно,		тебя	добуду,
Лучше		сдайся	мне		живьем!
–	Эй,	товарищ,		будет	худо,
Выходи,		стрелять			начнем!

И, говоря так, красноармейцы стреляют: «трах-тах-тах!» А после выясняется, что это идет впереди «Исус Христос» с кровавым флагом,

«за вьюгой невидим» и что он от «пули невредим», – откуда ясно, что стрельба и пули направлены именно в него, хотя и незримого.

Таким образом, сопоставление «12-ти» с апостолами должно отпасть и отношение Христа к революции делается, так сказать, односторонним: революция сознательно за ним не идет, но он незримо и неведомо для нее ею предводительствует.

Такова, очевидно, мысль Блока.

Другая статья, «Александр Блок и интеллигенция», – отклик на второе издание блоковской книги «Россия и интеллигенция». В ней наш герой снисходительнее к Александру Александровичу (уже зная о не раз проявлявшейся *неустойчивости* Тинякова, слово «снисходительнее», уверен, будет воспринято как ирония): «Ал. Блок, не будучи прямым сторонником революции, наблюдая ее со стороны, тем не менее, относится к ней, как к явлению истинно-великому и тем самым свидетельствует о незаурядной серьезности и глубине своего ума и таланта».

Нашлись время, силы и душевное равновесие у Александра Ивановича (напомню, что Орел и Казань в 1918–1919-м переходили из рук в руки) для того, чтобы обращаться и к вопросам науки и техники. Очень любопытны статьи «Печальные чудеса» и «О будущем технической цивилизации». Советую найти и почитать. Во второй статье Тиняков создает нечто вроде утопии (жанр утопии, кстати, стал очень популярен в годы Гражданской войны и сразу после нее).

...Целые и притом величайшие отрасли технического производства будут совершенно вычеркнуты из жизни (после социалистической революции. – *Р.С.*), напр., всё – имеющее отношение к военному делу. Перестанут изобретать и выделять оружие, орудия, смертоносные газы и вообще все те бесчисленные приспособления для истребления людей, на усовершенствование которых техника уделяет теперь наибольшую часть своих сил.

Далее: на заводах, фабриках и мастерских уже не будут, вероятно, производиться предметы, рассчитанные на потребление меньшинства, т. е. предметы роскоши и чрезмерного комфорта, на производство которых современная техника также затрачивает массу сил.

Несколько слов о двух других книгах Александра Тинякова / Герасима Чудакова.

«Кое-что про Бога» – сборник из восьми статей, разделенных на две части – «О религии» и «О попах». Про самого Бога мало, в основном о Церкви как институции. Пока что Александр Иванович нападает на священников, разоблачает якобы чудеса, но к Иисусу Христу еще относится с уважением (впрочем, ничего особенного: Христа до 1930-х пытались встроить в мировую революцию, сделать одним из первых революционеров). В книге много деталей, случаев, которые наверняка будут интересны и полезны тем, кто изучает Россию в годы Гражданской войны...

Книга, вернее, восьмистраничная брошюра «О значении искусств» – вполне ликбезовский уровень. Тиняков бегло говорит о политическом и эстетическом значении искусства, приводя в пример в первом случае искусство Древней Греции, Германии, Италии и Индии, а во втором – строчки из стихотворения Фета:

Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.

На обложке книги «Пролетарская революция и буржуазная культура» есть заключенные в виньетку слова: «Никем из книгопродавцев указанная цена повышена быть не может». Очень полезное указание. У нас нынче на сигаретных пачках имеется максимальная цена, а на книгах – нет... Цена тиняковской «Пролетарской революции...» – 15 рублей. Не знаю, много это или нет для 1920 года. Но вот встречаю в письме литератора Малишевского Пришвину от 3 мая 1920-го: «Цены: мука 18 т. крупа 16, сахар 2500 ф., соль 800, молоко кружка 190 р., яйца до 2 т., папиросы 35 р. штука, махорка 1000 р. ф.».

Ниже на обложке:

Того-же автора.

1. Кое-что о Боге (*печатается*).
2. Революция (поэма в картинах). Казань, 1920 (*печатается*).
3. Литературные портреты (*готовится к печати*).

По всей видимости, последние две книги так и не вышли. Зато появилась брошюра «О значении искусств».

Вот такие материальные плоды трех лет жизни и деятельности Александра Тинякова в Орле и Казани.

Ну и стихи, конечно.

Все так здесь, как было при Олеге,
Как тысячи и сотни лет назад:
Все те же неуклюжие телеги
И бревна черных, вросших в землю хат.

Все так же за собою самодельной
Идет мужик – шершавый и босой,
Все так же над равниной беспредельной
Пылает солнце – светоч золотой.

Растет, бушует, плачет и смеется
Жизнь городов в сиянии страстей,
А здесь все неизменным остается:
И вопли вьюг, и скрип коростелей.

Творит и мыслит Леонардо Винчи
И гибнут где-то Ницше и Христос,
А здесь все так же, и вчера, и нынче —
Все та же грязь, колосья и навоз.

Все те же туполобые ребята,
Все те же земляные мужики,
И над полями зарево заката,
И веянье безлюдья и тоски...

Октябрь 1919. Казань

* * *

До 11 августа 1920 года публикации Тинякова (Герасима Чудакова) в «Известиях Казанского губернского совета крестьянских депутатов» следуют почти ежедневно. Затем Николай Богомолов отмечает в «Материалах к библиографии...» перерыв до 5 сентября и предполагает: «По всей видимости, в середине августа Тиняков едет на рекогносцировку в Петроград <...> и в конце октября окончательно перебирается туда».

Позже в подробной статье о Тинякове в многострадальном биографическом словаре «Русские писатели. 1800–1917» (том 6, 2019) Богомолов повторяет: «В кон. 1920 возвратился в Петроград, некоторое время жил в Доме иск-в...»

Было не совсем так – сложнее и интереснее.

В середине августа Александр Иванович отправился сначала не в Петроград, а в Москву, где в то время кипел жизнью и творчеством Дворец искусств – ДВИС.

Интересующиеся русской литературой в первые годы советской власти хорошо знают о Доме искусств в Петрограде (ДИСКе) – о нем красочно и подробно писали Чуковский, Виктор Шкловский, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич; в ДИСКе происходит действие романа Ольги

Форш «Сумасшедший корабль», в ДИСке написал «Алые паруса» Александр Грин, в ДИСке был арестован Гумилев... ДВИС же освещен куда слабее.

Московский Дворец искусств был основан на несколько месяцев раньше ДИСКА - в самом конце 1918-го. Руководителем его стал Иван Рукавишников, уже не раз появлявшийся на этих страницах. Пора немного сказать о нем, тем более что фигура эта полузабытая. Во всяком случае, не такая известная, как Ходасевич или Георгий Иванов. Иван Сергеевич Рукавишников родился в 1877 году в Нижнем Новгороде в богатой купеческой семье, которая выстроила на набережной Волги прекрасный дворец - пожалуй, главное украшение Нижнего.

В юности Иван заболел не только туберкулезом, но и декадентством. Купеческое дело Рукавишниковых решил не продолжать, уехал в Москву, а затем в Петербург. Революцию 1905 года встретил восторженно, помогал революционерам и словом, и делом (деньгами). В 1912-м опубликовал роман «Проклятый род», в персонажах которого родные узнали самих себя и своих предков и фактически отреклись от Ивана.

Правда, в нужду писатель не впал, тем более что к личной роскоши не испытывал симпатии. Деньги он тратил на революционную борьбу, алкоголь, которым лечился от туберкулеза, и издание своего собрания сочинений, составившего к 1925 году двадцать томов.

Умер Рукавишников в 1930-м. На его смерть Тиняков откликнется в дневнике:

...9-го апреля умер Ив. Рукавишников... Рукавишникова я знал давно и хорошо. Я и пьянствовал с ним в 1913 г., и работал в 1921 г. В последний раз мы виделись и пили в Москве у Евг. Сокола в 1925 г. Мне жаль его, как неплохого и неглупого человека. Да и писал он, в общем, не плохо.

Ивана Сергеевича ценили земляк Максим Горький и нарком просвещения Луначарский, и, когда Рукавишников в 1918-м расписал им, как замечательно литераторы, живописцы и прочие люди искусства будут творить в одном месте, жить коммунаой, поддержали создание Дворца искусств.

Под него в Москве был отдан так называемый Дом Ростовых (улица Поварская, 52), где до этого жили графы Соллогубы, позже находилась ВЧК, а после ДВИСа - поочередно - Высший литературно-художественный институт имени Брюсова (прообраз Литинститута), Федерация объединений советских писателей, правление Союза писателей СССР, Международное сообщество писательских союзов, а с

2020 года и до самого недавнего времени – Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР).

О буднях Дворца искусств можно прочесть в повести Бориса Пильняка «Иван да Марья», в книге Александра Васькина «Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой», в воспоминаниях Нины Серпинской. Не так давно вышла очень интересная статья А.Л.Соболева «К истории московского „Дворца искусств“», где есть ссылки на работы других исследователей^[16].

Видимо, к своему давнему приятелю Ивану Сергеевичу и отправился Тиняков в августе 1920-го. Скорее всего, по своей инициативе, так как в Москве не задержался – стать членом коммуны было непросто. Даже Марину Цветаеву не приняли, ограничив рангом кандидата. Членство в коммуне предполагало не только крышу над головой, но и паёк. Так что желающих было наверняка предостаточно.

Погостив у Рукавишникова, Александр Иванович отправился в Петроград. Где он там остановился, сколько дней пробыл, какие документы при себе имел – мне неизвестно. А эти детали интересны и важны: еще вовсю идет война, так просто не поездишь, в гостиницу не вселишься, в ресторан или трактир не сходишь.

Достоверно известно, что побывал у Александра Блока – этому есть подтверждение в записных книжках самого автора «Двенадцати»: «20 августа. Экземпляр „Лира“ (от Замятина). – С 3-х часов – Н.А.Нолле, Е.Ф.Книпович, А.Тиняков (Чудаков), С.М.Алянский, телефоны, гости до ночи».

Александр Александрович и новый, революционный псевдоним Тинякова, оказывается, знал, причем уже тогда – Тиняков как Герасим Чудаков в Петрограде еще не выступал. Но вскоре выступит.

Документально известно, что Александр Иванович восстанавливает отношения с Алексеем Михайловичем Ремизовым. Правда, тот вскоре уедет за границу и навсегда порвет с Россией, но успеет устроить Тинякова в Петрограде.

Для меня загадка, почему Ремизов так ему симпатизировал. Вроде бы он должен быть Алексею Михайловичу попросту противен что в 1916-м, что в 1920-м. И на людях Ремизов это демонстрировал (поэт Владимир Смиренский вспоминал, что он называл Тинякова «гнидой обезьяньей палаты»), и в дневнике (запись от 24 августа 1920-го: «Есть русские люди бессовестные, такие как Роз[анов?] Тин[яков?] Гор[одецкий?] — „и подлые“»).

С ранней молодости Ремизов проникся идеями марксистов и эсеров, которым не изменял и позже, а *черносотенца* Тинякова если и оттолкнул, то легонько и временно. В 1920-м Ремизов уж точно не сторонник большевиков, а не только принял большевистского агитатора Тинякова, но и посодействовал публикации тиняковской статьи в газете «Жизнь искусства», отдал в журнал «Красный балтиец» его стихи и заверил автора, что «их напечатают». Мало того, он почти вызывает

Тинякова в Петроград: «Если бы вы были тут, много работы нашлось здесь в журнале моряков».

Меньше чем через год Александр Иванович этим приглашением воспользуется.

А пока он возвращается в Казань.

* * *

С 5 сентября публикации за подписью «Герасим Чудаков» в «Известиях...» возобновляются и следуют с прежней, почти ежедневной плотностью, но после 23-го числа Николай Богомолов их больше не встретил. По всей видимости, тогда Тиняков получил вызов от Рукавишникова и отправился в коммуну Дворца искусств.

Но сейчас остановлюсь на статье Тинякова в «Жизни искусства» и на самом этом издании. А издание Петроградского Театрального Отделения Наркомпроса удивительное. В 1918–1921 годах это часто был ежедневный *листок*, на одной странице которого печатали статьи об искусстве, а на второй – как правило, программы петроградских театров. Вот номер от 18–19 октября 1919-го. Войска Юденича на подступах к Петрограду, идут тяжелые бои, а в «Жизни искусства» большая статья Игоря Глебова об опере Чимарозы «Тайный брак», размышления Александра Блока о трагедии «Отелло» и ее постановке в Большом драматическом театре... На второй странице анонсов спектаклей в этом выпуске нет, зато есть статья Бориса Эйхенбаума о Шиллере, сообщение о подготовке выставки японских гравюр, о том, что в Большом Оперном театре репетируют «Мейстерзингеров», «Фауста» и «Севильского цирюльника».

Но вот 22 ноября режим «внутренней обороны» снят, театры заработали, и газета увеличивается до четырех полос, две из которых отданы под программы Мариинского театра («Валкирия»), Большой Коммунистической Оперы («Фауст»), Маленького театра (пьеса Аркадия Аверченко «Без ключа»), Большого драматического театра («Много шума из ничего»), Малого драматического театра («Ревизор») ... И так – о высоком и вневременном – все долгие четыре голодные и холодные года, которые Виктор Шкловский позже назовет *первой блокадой*.

Статья Тинякова «Правда красок», подписанная «Герасим Чудаков», опубликована в «Жизни искусства» 25 августа 1920-го и выделяется своей революционной риторикой. Но революционность здесь больше культурная, а не социально-политическая.

Посвящена статья «выставке московского „Дворца искусств“» (этакая реклама деятельности ДВИСа).

В тихих старинных залах московского «Дворца искусств» открыта постоянная выставка произведений современного искусства.

Несмотря на небольшое пока количество собранных картин, выставка оставляет по себе впечатление большой остроты и очень интересна.

Сошлись художники самых различных направлений. Крымов с его «Тихим вечером», Туржанский, Милиоти, В.Комаровский, давший чудесную «Акварель», и Шереметев, особенно ярко проявивший себя в этюде «Яблони цветут», – определенно примыкают к старым школам, связанным с импрессионизмом, и являются выразителями, главным образом, эмоционального стиля искусства. <...>

Отдавая должное тонкому мастерству художников, примыкающих к «старым» школам, мы должны, однако, признать, что наиболее тесная и глубокая связь с современной жизнью чувствуется в картинах новаторов, подобных Григорьеву.

В буйном, – местами бешеном (так! – *Р.С.*), – размахе их линий, в яркости и видимой резкости их красок, – резкости, за которой таится сложнейшая и многоцветнейшая основа, – чувствуется буйная, резкая и в то же время многоцветная сущность нашей эпохи, чувствуется дыхание Революции. <...>

Надо сознаться, что никогда еще не было в нашей живописи столь порывистых, буйных и в буйстве своем прекрасных цветосочетаний, как в произведениях художников, примыкающих к новейшим направлениям в живописи. И это обстоятельство, по нашему мнению, лучше всего свидетельствует о мощности и внутренней правде Революции: ведь под ее пламенным дыханием рождаются и являются в мир эти краски, ведь это ее праздник они празднуют, ее торжество прославляют!..

Статья, скажем так, не из сильных. В живописи наш герой явно не был специалистом, слов особенно много подобрать не мог – «буйство», да и только. Привел я эти цитаты в основном затем, чтоб читатель сравнил их с отрывком из письма Александра Ивановича, написанного 27 мая 1914 года Борису Садовскому из родных мест:

...О своих делах и положении я сейчас почти не думаю, потому что вечером соседка-помещица рассказала мне, что в ближайшем к нам селе поп хочет завести кинематограф для мужиков. Я уже собираюсь писать архиерею, губернатору и в местную газету Союза Рус. народа. Думаю также натравить на долгогривого шабесгоя моего отца, местного протоиерея и вообще благомыслящих людей околотка...

Да, *неустойчивым* человеком был Александр Иванович. Или играл, подстраивался. С *крепостником* Садовским играл в мракобеса, с молодой революцией – в поклонника авангарда...

Итак, в сентябре Тиняков в Москве, поселяется во Дворце искусств. Но он, как обычно, опаздывает. Романтика ДВИСа заканчивается.

В январе 1921-го Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин) обнаруживает финансовые злоупотребления при проведении культурных мероприятий и постановлением от 9 февраля предписывает Дворец искусств закрыть «ввиду несоответствия деятельности задачам Наркомпроса и неоднократного нарушения сметного порядка». В ответ Иван Рукавишников пишет стихотворение «Краткая история Дворца искусств московского речением богомерзким глаголемого Двис», начинающееся так:

Двис	угоден	лишь	Наркому	—
Сектор		кажет	нам	клыки.
Но		Наркому	то	знакомо,
Да	и	мы	не	дураки.

«Где	устав?	где	ваша	смета?
Что	вы?	Общество?	Отдел?»	—
Это		выдумка		поэта,
Не	касайтесь	наших	дел!	—

«Что?!		Концерты?		Что!	доходы!
А		декреты?		А	Рабкрин?!»
—	Мы	не	можем	без	свободы,
Вас	так	много	—	Двис	один...

Встречаем мы в этом стихотворении и Александра Ивановича:

Завалюсь	печатным	словом,
Хламом,	конской	колбасой,
Малишевский	с	Тиняковым
Блещут	эллинской	красой.

Нравы во Дворце искусств были вольные, свободные – устав организации так и не был принят, финансовая и прочая документация велась кое-как. Ему покровительствовал Анатолий Луначарский, нарком просвещения, но и он не смог помешать упразднению ДВИСа. Впрочем, после его закрытия в здании на Поварской продолжали жить писатели, художники, актеры. В том числе и Александр Тиняков. Упоминание о нем находим в дневниковой записи поэта Тараса Мачтета за 10 апреля 1921 года: «Третьего дня я в яркий солнечный день узрел умильную довольно сцену. На перилах балкона восседал Малишевский, в качалке рядом Адалис покоится, а внизу со двора на них любовно глядит Тиняков, весь обросший волосами».

О литераторе Михаиле Малишевском можно прочитать в интернете^[17]. А Аделина Адалис – последняя возлюбленная Валерия Брюсова, поэтесса, переводчица; ее колоритный портрет есть в очерке Марины Цветаевой «Герой труда».

В апреле 1921 года Рукавишникову командировали в Туркестан для организации местного Дворца искусств. Оттуда в мае он напишет стихотворное послание Тинякову о своей жизни в Ташкенте. Судя по конверту, который Александр Иванович сохранил, письмо отправлено на адрес Дворца искусств – Поварская, 52. Жил он там на вполне законных основаниях, даже солидную должность занимал. Впрочем, дадим ему слово.

Из очерка, посвященного 50-летию Валерия Брюсова^[18]:

В дни, когда еще царила разруха, в начале 1921 г., мне приходилось в московском «Дворце искусств» чуть ли не ежедневно встречаться с В.Я. Борода его уже поседела, но движения его были все так же стремительны, фигура – пряма и гибка, а сам он, как и 20 лет тому назад, ясен, бодр, влюблен в работу.

Кругом все ныли, охали, «иронизировали». Брюсов, казалось, совсем не замечал «разрухи».

А ведь он также, вместе со всеми, сидел за некрашенным, убогим столом в подвальной «столовке» и ел те же пустые щи деревянной, изгрызанной ложкой! И чуть ли не ежедневно возвращался пешком с конца Поварской к Сухаревой башне!

И как кипело дело в его руках!

Когда он начал работать, между «Дворцом искусств» и «Лито» происходила ожесточенная и довольно нелепая борьба за библиотеку. «Лито» хотело взять библиотеку закрытого «Дворца» себе, «Дворец» хотел сохранить ее, чтобы передать, вместе с курсами, тому учреждению, к которому перейдут курсы.

Я как раз заведывал этой библиотекой и с отчаянием следил за той неразберихой и бестолковщиной, в которую все глубже погружались ответственные руководители обоих названных учреждений.

Но вот явился, в качестве представителя Главпрофобра, – В.Я. и дело сразу резко изменилось: у меня в руках появились толковые мандаты, на словах В.Я. давал мне краткие, дельные указания и, в конце концов, библиотека, вместо того чтобы влиться в качестве ненужного придатка в библиотеку «Лито», сохранила самостоятельное бытие...

Библиотека *самостоятельное бытие* сохранила, а вот сам Александр Иванович, после короткой поездки в апреле, в июне 1921-го перебирается в Петроград и поселяется в Доме искусств на Невском.

По протекции Ремизова герой моей книги плодотворно работает в Политуправлении Балтфлота, заполняет полосы газеты «Красный Балтийский флот» и журнала «Красный балтиец» революционными, разоблачительными материалами, затем подвалы газеты «Последние новости» рецензиями на книги самой разной тематики. «... Примечателен масштаб рецензирования, пусть самого беглого: не только художественная литература, но и история, и искусствознание, и политика, и история религии и атеизма, и естествознание», – замечает в «Материалах к библиографии Тинякова» Николай Богомолов.

Статьи (в том числе передовицы), стихи на злободневные темы за подписями «Герасим Чудаков», «Г.Ч.» буквально заполонили «Красный Балтийский флот» летом – осенью 1921 года. В номере от 10 сентября аж три его материала (к этому номеру я еще вернусь).

О частной жизни Александра Ивановича того времени почти ничего неизвестно. Пожалуй, единственные источники – воспоминания всё тех же Владислава Ходасевича и Георгия Иванова.

Вот что читаем у Ходасевича в очерке «Неудачники»:

Я уже думал, что где-нибудь сложил он свою голову – у белых, у красных, а то и попросту под забором. Внезапно – не то в конце 1921-го, не то в начале 1922 года – он объявился снова.

Я жил тогда в петербургском Доме Искусств. В дверь мою постучались – на пороге стоял Одинокый, даже не постаревший, только оборванный, – но мы все ходили тогда оборванными. Приехал он прямо из Казани, где, оказывается, года два редактировал газету.

– Значит, вы теперь коммунист? – спросил я.

– Нет, но мне с большевиками по пути, поскольку они отрицают Бога. Бога я ненавижу, Владислав Фелицианович, – прибавил он конфиденциальным тоном.

– А Бабу Ягу?

Он ухмыльнулся:

– Вы хотите сказать, что если я ненавижу Бога, то, значит, верю в Него? Ну что ж? Оно, может быть, так и есть.

Он заставил меня написать ему стихи в альбом и ушел. Его поселили в том же Доме Искусств, в той части, которая была предназначена для неопрятных жильцов. Там он пьянствовал и скандалил. По ночам приводил к себе тех десяти-двенадцатилетних девочек, которые днем продавали на Невском махорку и папиросы. Его соседка по комнате, старушка, бывшая артистка Мариинского театра, жаловалась, что он стучит к ней в тонкую дощатую перегородку и ругается:

– Скоро ты, старая ведьма, угомонишься? Перестань ворочаться, дьяволица, не мешай!

Он пробовал заняться литературной работой – из этого ничего не вышло. Меж тем нужны были деньги. Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском мосту. Он был в новых штiblетах и сильно пьян. Оказалось – поступил на службу в Чека.

– Вы только не думайте ничего плохого, – прибавил он. – Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И, подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видел^[19].

А это Георгий Иванов в очерке из цикла под общим названием «Невский проспект»:

Только в 1920 году он снова появился в Петербурге. Вид он имел грязный, оборванный, небритый. Никого не интересовало, откуда он взялся и чем занимается.

Однажды он зашел в Дом искусства к своему старому знакомому писателю Г. Поговорили о том о сем и перешли на политику. Одинокiй спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думал.

– А, вот как, – сказал Одинокiй. – Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти? Не ожидал! Хотя мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск...

И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных Ч.К.^[20]

Серьезные исследователи сомневаются, что Тиняков был сотрудником Чека. Впрочем, он часто воспевал эту организацию, в статьях призывал ее карать врагов революции...

Да, в Петрограде Александр Иванович зарабатывает на хлеб насущный газетной работой. Но и высокое искусство им не позабыто – в 1922-м в издательстве «Поэзия» увидел свет «Треугольник. Вторая книга стихов. 1912–1921 г.г.». Псевдоним Одинокiй давно забыт, автор подписался четко и ясно: «Александр Тиняков».

Читая «Треугольник», понимаешь, что и эта книга вышла с запозданием на несколько лет. Появись такие стихотворения в гибнущем Петрограде 1919 года, на них, может быть, обратили бы внимание. По принципу: вот он, голос смерти, дух разложения. Но в годы только что народившегося нэпа, некоторой эйфории после окончания войны строки про секс со старой нищенкой в чужом подъезде, про мальчика из уборной, про «заболевшего проказой», написанные до революции, вызывали лишь недоумение и брезгливость. Тем более что автор по-прежнему чуть ли не в каждом стихотворении меняет маски. То он египетский раб, то проститутка, то шудра, то проказенный, то Христос... Мастеровитость имеется, а искренностью и не пахнет.

«Треугольник» почти не вызвал откликов. Декадент из прошлого не был нужен в новом мире, дореволюционные знакомцы Тинякова или умерли, или находились в эмиграции, или к эмиграции готовились, или же просто не захотели заметить книгу бывшего черносотенца, а теперь беспартийного большевика-газетчика, вдруг вспомнившего о лире.

Одно из немногих упоминаний о «Треугольнике» находим в книге первой журнала «Печать и революция» за 1923 год в рецензии (если так можно выразиться) Э.П.Бика (псевдоним литератора Сергея Боброва) на десяток книг стихов разных авторов.

...Е.Стырская и А.Тиняков. Достойные и дополняющие друг друга соседи.

Вообще говоря, порнографией называется тот род искусства, который направлен специально на возбуждение грязных побуждений... Эти авторы, вероятно, не думали заниматься специально таким возбуждением. Им этого и не нужно. Воображение их и инстинктивные конструкции сами по себе до того грязны, что им никакой преднамеренности не требуется. Стырская рассказывает, как

Сладострастья			тяжелая		дрожь
Бьет	от	ноздри	до		колена...

или:

Ты	да	я,	и	я	да	ты,	и	лижут
Ночи		нас		и		простынь		полотно...

А Тиняков то же, только поглубже:

И	ноги	пухлые	покорно	обнажая,		
Мегера	старая	прижалася	к	стене,		
И	я	ласкал	ее,	дрожа	и	замирая,
В	тяжелой,	как	кошмар,	полночной		тишине...

и т. д. Дальнейшее выясняет, что Тиняков и есть тот буржуа-чудовище, с которым думал сражаться Боделэр, открывая неистового садиста в лавочнике, что Тиняков глупо и грубо подражает Брюсову... и жаль, что

эти книжонки выходят, пачкая наше время своей зловонной сукровицей^[21].

Впрочем, отыскалась и хвалебная, сочувственная автору и его, так сказать, лирическому герою рецензия. Написал ее Михаил Павлов (Богомолов указывает, что под этим псевдонимом скрылась Надежда Александровна Павлович, человек потрясающей судьбы), напечатана в журнале «Книга и революция». Рецензия небольшая, поэтому приведу ее почти полностью.

Стихи поэта – это свидетельское показание о мире, потому что поэт отмечает изменение ритмов мировой жизни, запоминает строй (устройство) мира, соотношения людей и предметов. Мир показал Тинякову страшное лицо, лицо прокаженного, недаром у Тинякова есть стихи о лепрозории. Поэт ощущал себя в этом мире отверженным среди отверженных, он не жил, он гнил и пел такие веселые песенки:

Я	до	конца	презираю
Истину,	совесть	и	честь,
Только	всего	и	желаю:
Бражничать	блудно	да	есть.
Только	бы	льнули	девчонки,
К	черту	пославшие	стыд,
Только	б	водились	деньжонки
Да	не	слабел	аппетит.

Дальше в падении и отчаянии идти некуда. Лица человеческого больше нет; и вдруг тут отверженцу снится сон, который, вероятно, не приснился бы многим счастливым; я позволю себе целиком привести эти прекрасные стихи.

Душа	моя	скорбит	смертельно,
Как	было там...	в ту ночь...	в саду...
Но	я	покорен	беспрдельно
И	смертной	казни	тихо жду.
Как	и тогда,	готова	к бою
Небесных	сил	святая	рать,
Но	вновь	с великою	мечтою
Взойду	на	плаху	умирать.

Всё	будет	так	же:	и	солдаты,
И		бритое		лицо	судьи,
И	так	же	грубо	будут	смяты
Одежды			бедные		мои.
Но	ужас	новый		сердце	ранит,
Когда	при	зорком		свете	звезд
Священник		тихо		мне	протянет
С	моим		изображеньем		крест.

От близкого – прямо в свет, в идеальную форму лица божественного, потому что есть та мера боли, которая боль претворяет в радость, и из разложений вырастает новый гармонический мир.

Ни	зависти,	ни	злобы	я	не	знаю,
Меня	не	давит		тесный		плен,
Я		человечество				благословляю
Из-за		моих		высоких		стен.

Тиняков сказал, что его душа «поет, ликует и, молясь, благословляет все земное».

Из мира своих индивидуальных переживаний он выходит в огромный, благословляемый им мир.

Искусство, столькими современниками нашими рассматриваемое только как ремесло (слово Каролины Павловой: «Мое *святое* ремесло забыто»), мстит и не дается в руки цехам поэтов счастливым и благополучным; искусство далось отверженному, честно заплатившему своей мукой за право слышать гармонию мира^[22].

Конец оды. Вернее, рецензии.

В папке с письмами Тинякову, хранящейся в бывшей Публичке в Петербурге, есть такое, от критика Юлия Айхенвальда:

Сегодня получил я, поэт Александр Иванович, Ваш «Треугольник». Очень Вас благодарю за память и внимание. Остры, терпки, часто страшны Ваши стихи, собранные вместе, на какую-то умственную белену похожи они, – но я понимаю, что и белена имеет право на существование как в природе, среди других злых зелий, так и в поэзии. А поэзии Ваша жуткая книга принадлежит.

Что же представляет собой «Треугольник»?

В книге тридцать два стихотворения, разбитых на три части: «Прелесть Земли», «Глухие углы» и «Единое». Вновь немало эпитафий (из Сологуба, Гиппиус, Архилоха, Тютчева), есть посвящения. Много слов с большой буквы (за что Тинякова, как мы помним, ругал еще Бунин двадцать лет назад).

Ни одного революционного стихотворения в сборник автор не включил, зато много написанных в 1913–1915 годах. Некоторые я уже приводил. А сейчас – такие:

Весна

Исступленные					быки
На	дворе	ревут	о		тёлках,
Облака		светлы,			легки,
Пух	зеленый		на		ветёлках.
Стали		бабьи			голоса
Переливной		и			страстнее,
Стали		выше			небеса
И	темней	в	садах		аллеи,
По	полям		шныряют		псы,
Уязвленные					любовью,
Наливаются					овсы
Изумрудной,		чистой			кровью.

И	на	всю	живую		тварь
Льет	свой	свет		благословенный	
Златокудрый,		мудрый			царь,
Наш	хранитель		во		Вселенной!

Март, 1914. Петербург

И еще такое, терапевтическое, что ли (сколько Тиняков жаловался на одиночество в письмах, и вот решил с ним поиграть в стихах), под названием «Бесжеланная любовь»:

Навсегда		ушла		любимая	—
И	в	душе		царит	покой,
Снова		тело			нелюдимое
Наслаждается					собой.

Нет	ни	боли	в	нем,	ни	страстности,
Ни		стремленья				обладать.

Ростки		целебных,		сочных		трав.
Пустой,		безлюбой		и		бесплодный
Стою	и	жду,	-	а	смерти	нет...
И	тонут		в	пропасти		холодной
Сиянья			пламенных			планет,
И	голос	бурь,		и	пенье	птичье,
И		человечьи				голоса...
И	глядя		на		мое	величье,
В	комочек			сжались		небеса...

Действительно сильных, по моему мнению, стихотворений в «Треугольнике» пять. «Все равно мне: человек и камень...», приведенное мной в главке о тиняковской истории; «Во дни борьбы» («Нет ни разлада, ни уныния...») и «Деревня» («Все так здесь, как было при Олеге...») – в главках, посвященных жизни героя этой книги в годы Гражданской войны, «Я все сказал, во мне пропели...» приведу в следующей части книги и – «Единое». По моему мнению, это вершинное произведение Тинякова:

Единое

*Я и блеск луны и солнца, и Священное Слово в Ведах,
и звук в эфире, и человечность в людях*

Бхагавад – Гита, VII, 8

Былиной	гибкою	под	ветром	Я	качаюсь,
Я	Сириусом	лью	лучи	мои	в эфир,
И	Я же	трупом	пса	в канаве	разлагаюсь,
И	юной	девушкой,	любя,	вступаю	в мир.

И	все	очам	людским	доступные	картины,
Все	тени,	образы	и	лики	бытия
Во	глубине	своей		божественно-едины,	
И	все	они	во Мне,	и все	они – лишь Я.

Христос	израненный	и	к	древу	пригвожденный,
И	пьяный	сутенер	в	притоне	воровском —
Четою		дружною,		навек	примиренной,
Не	споря	меж собой,	живут	во	Мне одном.

Во	всем,	что	вымерло,	в	деревьях,	гадах,	птицах,
Во	всем,	что	есть	теперь	в	пучине	бытия,
Во	всех	грядущих	в Мир	и	нерожденных	лицах	—
Во	всем	Единый	Дух,	во	всем	Единый	Я.

Апрель, 1919, г. Орел

Интересные детали я отыскал на обложке и этой книги. Под информацией «Того-же автора» указаны кроме дебютной книги следующие:

1. Тютчев. Собрание критических статей о поэзии Тютчева. Составил Александр Тиняков. Изд. «Парфенон». Петербург. *(Печатается)*.
2. Ego sum, qui sum. Третья книга стихов. *(Рукопись)*.
3. Поэты. (Тютчев, Подолинский, Полонский). Сборник критических статей. *(Рукопись)*.
4. Личность Достоевского. Очерк. *(Рукопись)*.
5. Памяти Светлого. (К характеристике А.А.Блока). *(Рукопись)*.

Книга «Тютчев» действительно вышла в свет, «Ego sum qui sum» тоже, но только в конце 1924 года и, видимо, на средства автора. Остальные рукописи так ими и остались и, вероятно, погибли.

* * *

Книга «Тютчев» названа собранием статей, но это не вполне справедливо. Тиняков – составитель и автор первой статьи, опубликованной еще до революции в журнале «Северные записки» – сделал затем обзор критики творчества Федора Тютчева и дополнил довольно большим корпусом его стихотворений.

В целом этот томик не производит особого впечатления. Судя по всему, не произвел он впечатления и сто лет назад. По крайней мере, я нашел только один небольшой отклик на «Тютчева» – в журнале «Книга и революция» (1922, № 7) за подписью Т.Б.

...Вокруг Тютчева, как вокруг Библии, выросла новая «толковая литература». Составитель целиком впитал в себя эту литературу символизма и озаглавил свою статью «Великий незнакомец». Тютчев так углублен, что его уже и не видно из-за комментаторской литературы. Сведение этой литературы к основным этапам, произведенное в книжке Парфенона, может сыграть отрезвляющую роль. Комизм производства Тютчева в «индийские мудрецы», в «махатмы» и «Прометеи» (ст. Тинякова стр. 13) ярко оттенен всей историей критики Тютчева. Пора обратиться к подлинному лику поэта, не затемненному фельетонными усилиями мудрецов начала XX века...^[23]

Заодно посмотрим, что там в отделе рецензий этого, одного из двадцати трех увидевших свет номеров журнала. Вначале – о книгах и статьях

Г.Зиновьева, Н.Ленина (один из псевдонимов В.И.Ленина), В.Ильина (опять же псевдоним Ленина), Ю. и Л.Каменева, Л.Троцкого, Л.Мартова, И.Сталина. Минуем несколько подотделов («Всеобщая история» и пр.) и вот «Изящная литература». Так, рецензия на «Кобзаря» Тараса Шевченко, на третий том «Истории моего современника» Владимира Короленко, на первый том «полного собрания сочинений» Александра Блока, рецензия Владимира Шкловского на книгу Николая Гумилева «Костер», в которой о Гумилеве говорится как о живом, в настоящем времени. И лишь в самом конце: Поэт обвешан здесь какой-то грустью. Он говорит в своем стихе:

Господь	воздаст	мне	полной	мерой
За	недолгий	мой	и	горький
				век.

Далее рецензии на есенинского «Пугачёва», «Горных орлов» Тетмайера в переводе Ходасевича, «Аврору» Георгия Маслова со вступительной статьей Юрия Тынянова, на «Александрйские песни» Михаила Кузмина, «Чистилище» Георгия Адамовича, «Любовь извечную» Иеронима Арденина, «Еву» Наталии Грушко, на коллективные сборники и альманахи «Звучащая Раковина», «Островитяне» и «Ушкуйники», на «Двор чудес» Ирины Одоевцевой, «Лампаду» Георгия Иванова («...Хорошо... что поэт знает пределы своего дарования и большей частью берется за посильные темы, создавая порою стихи довольно приятные...» – Иннокентий Оксенов), на восьмое издание «Четок» Анны Ахматовой («Конечно, Ахматова сегодняшняя нам ближе, понятнее и дороже, чем поэт „Четок“; конечно, в „Четках“ много эстетства и голос автора еще не громок, хотя уже неотъемлемо свой. Великие испытания заставили этот голос звучать горько и гневно – и, вероятно, такую и войдет Ахматова в историю», – снова Иннокентий Оксенов).

Есть рецензии на «Путешествие в Хаос» Константина Вагинова («Стихи его бред, конечно, но какой заставляющий себя слушать бред! Хорошей болезнью встряхнуло Вагинова – он потерял чувство обычного пространства и обычного времени», – пишет некто В.Р.), на «Открытое море» Сергея Колбасьева (увековеченного много позже в фильме «Мы из джаза»).

Почти сплошная поэзия! И четверо из авторов рецензируемых книг (включая «переводчика» Ходасевича) вот-вот покинут Советскую Россию (Ирина Одоевцева вернется через шестьдесят пять лет); трое – мертвы, остальные... По-настоящему *великие испытания* и для рецензируемых, и для рецензентов еще впереди.

Но вернемся к «Тютчеву». Книга вышла под редакцией Акима Волынского. В «Отрывках из моей биографии» Тиняков о нем не

забывает: «Из писателей некоммунистов с чувством особой признательности я должен упомянуть об Акиме Львовиче Волынском, который больше всех поддержал меня в 1921–22 гг., когда „репортеры“ и „дантисты“ не хотели принять меня в члены Всеросс. Союза Писателей, без всяких оснований считая меня двурушником, карьеристом, продажным писакой и т. д. Аким Львович как человек высококультурный и умеющий глубоко и честно мыслить после нескольких бесед со мною убедился, конечно, что я ни в какой степени не подлец, а просто крайне своеобразный человек и потому, несмотря на всевозможные мои „уклоны“, имеющий не меньшее право быть членом Союза Писателей, чем честнейшие „строкогоны“ и жрецы либеральных идеек. В Союз я вошел».

Аким Волынский (Хаим Лейбович Флексер), по всей видимости, был человеком широких взглядов. Один из первых теоретиков русского декадентства, не изменивший эстетических убеждений и после Октября и в то же время поощрявший самые радикальные суждения строителей нового общества. Человек уже пожилой (родился то ли в 1861-м, то ли в 1863-м), но активный, влиятельный: председатель правления ленинградского отделения Всероссийского Союза писателей в 1920–1924 годах, председатель коллегии «Всемирной литературы». В архивах можно найти немало заявлений и просьб *бывшего* (жизнь показала, что не бывшего) антисемита Тинякова на его имя.

В 1924 году Волынский по своей или чужой воле стал отходить от дел (он умер в 1926-м), и для Александра Ивановича наступили очередные трудные времена. И тоненькая книжечка стихов под названием «Его sum qui sum (Аз есмь сущий)», увидевшая свет в конце того года, стала воплем отчаяния. Который пусть далеко не всеми и далеко не сразу, но был услышан.

* * *

А пока что у него всё шло неплохо. Статьи и рецензии писались и печатались.

В «Красном балтийце» ему доверили некролог на смерть Александра Блока. В нем Тиняков (по-прежнему прикрываясь псевдонимом Герасим Чудаков) мягче, чем в статьях, но тем не менее строго судит автора «Двенадцати» за нетвердость и сомнения.

Через два года, отбросив псевдоним, в очерке «Памяти А.А.Блока» Тиняков смягчит отношение к поэту, да и о своем отношении к происходившему (и происходящему) в родной стране после революции выскажется честнее.

Обращает на себя внимание напечатанная в «Красном балтийце» рецензия Герасима Чудакова на первый выпуск альманаха «Дракон», изданный «Цехом поэтов». «...Кроме милого стихотворения Г.Иванова (стр. 11) в нем нет ничего живого, интересного, значительного. Сборник лишний раз подчеркивает, что „Цех поэтов“ – учреждение

мертворожденное. Не в „Цех“ должны замыкаться поэты, а растворяться в необъятном мире, и не „взвешивать“ свои слова, а расточать их самозабвенно и щедро...»

Писал он о книге рассказов Константина Федина «Свetaет», о «Рамзесе» Блока, «Одной любви» Сологуба, «Подорожнике» Ахматовой... В № 9–10 (сдвоенном) огромная статья «О распространении христианства». Кстати, не столько бичующая религию, сколько рассказывающая о ней, просветительская.

В следующем номере журнала Герасима Чудакова уже нет, как и в последние месяцы 1921-го в газете «Красный Балтийский флот», где он писал не о литературе, а о политике: в конце года и журнал, и газета закрываются. Но вскоре Тиняков находит новое издание для публикаций – газету «Новости», переименованную вскоре в «Последние новости». Она будет для него кормилицей на протяжении почти двух лет, вплоть до закрытия весной 1924-го. Александру Ивановичу был отведен подвал третьей полосы, где он выступал с рецензиями, объединенными общим названием «Критические раздумья» (которых в итоге наберется двадцать четыре).

Отмечу рецензию на альманах «„Литературная мысль“, Книга 1»^[24], где добрым словом упоминается тиняковский друг литературной молодости:

Из 11-ти стихотворений, вошедших в альманах, лишь стихотворение В.Ходасевича «Музыка» способно остановить на себе внимание: в нем чудесно описано морозное утро в Москве и опоэтизированы подробности нашего недавнего Быта.

Далее, по моему мнению, небезынтересное замечание:

Стихи остальных авторов, быть может, и не плохи, но как-то маловыразительны и, в конце концов, не дают читателю ничего. Вообще печатание отдельных стихотворений не имеет, нам кажется, смысла; на более верной дороге стояли такие журналы, как «Новый Путь» и «Весы», которые чаще всего давали в номере целый цикл стихов какого-нибудь одного поэта. Этого метода следовало бы держаться и нашим альманахам, если они не хотят повторять варварскую ошибку тех журналов, которые в «доброе, старое» время печатали стихи «на затычку»...

В 1923 году, как вспоминал сам Тиняков, он «также интенсивно начал было работать в вечернем выпуске „Красной Газеты“, но скоро меня

начали травить, поминать мое „прошлое“, несмотря на то что вопрос об этом рассматривался в Петроградской Секции Работников Печати и был официально ликвидирован». Тем не менее из «Красной газеты» ему пришлось уйти.

Но это будет немного позже, сейчас же у Александра Ивановича радость: в Орловском отделении Госиздата вышла в яркой, кричаще-революционной обложке его книга, которую сам Тиняков назвал «замечательной» и в этот раз не ошибся с оценкой. Замечательна эта работа хотя бы по заложенной в ней мысли: «русская литература, в лице ее крупнейших представителей, всегда была чужда революции и очень часто враждебна ей».

* * *

«Русская литература и революция» была написана еще летом 1920-го, но издать ее удалось только теперь, да и то не в Петрограде или Москве, а на малой родине.

Начинает Тиняков свой обзор с Хераскова и Капниста, а заканчивает Андреем Белым и Вячеславом Ивановым.

Книга откровенно тенденциозна, вернее, полемична (полемизирует автор с мнением, высказанным «в самом начале нашей революции – в апреле месяце 1917 г. – проф. С.А.Венгеровым, который прочитал на собрании Пушкинского кружка в Петербурге доклад, где, между прочим, утверждал, будто вся русская литература есть „либо мечта о революции, либо призыв к революции, либо бесконечное уважение к ней“»^[25].

Александр Иванович в упор не замечает пусть не откровенно революционных, но вольнолюбивых, критикующих, вразумляющих самодержавную власть произведений. Например, во фрагменте, посвященном Державину, Тиняков приводит строки из его оды «На переход Альпийских гор», но ни словом не упоминает о стихотворении «Властителям и судиям».

Когда же отрицать революционность писателя невозможно, наш герой выворачивается примерно так же, как в случае с Рылеевым:

...К.Ф.Рылеев – играл даже очень видную роль в восстании декабристов и 13-го июля 1826 г. был казнен. Но, во-1-х, нельзя противопоставлять одного Рылеева, занимающего очень скромное место в русской литературе, целой веренице таких первостепенных литературных деятелей, каковы Пушкин, Боратынский, Вяземский и др.; во-2-х же, – и само декабристское движение нельзя рассматривать как революционно-народное.

Вроде бы делает исключение автор для Некрасова —

Однако, и у Некрасова мы напрасно стали бы искать какой-либо цельности, определенности и прямоты. Он сам лучше всего определил свою двойственность, сказав:

Мне	борьба	мешала	быть	поэтом.
Песни	мне	мешали	быть	бойцом.

Вглядываясь глубже в поэзию Некрасова, мы должны будем прийти к убеждению, что никакого определенного революционного идеала у него не было и что политические взгляды и общественные симпатии его были, в общем, неустойчивы и смутны.

(Ну-ну, Александр Иванович, не вам бы обличать в этом поэтов...)

А дальше Тиняков приводит несколько примеров, где Некрасов показан как поборник самодержавия, воспеватель «графа Муравьева-Вилenskого, которого за жестокое усмирение Польши прозвали „Вешателем“».

Не уходят от осуждения ни Гоголь, ни Достоевский, ни Тургенев, ни Чехов.

Особенно подробно доказывает Тиняков антиреволюционность Льва Толстого, приводя множество цитат из его писем, статей, дневников:

...из всего этого получается вывод, крайне неутешительный для сторонников взгляда проф. Венгерова. Оказывается, что величайший русский писатель был всесторонне чужд революции: в первую половину своей жизни он принадлежал к консервативному лагерю, во вторую половину стоял на религиозно-моральной точке зрения, с высот которой всякая политическая борьба и всякое политическое строительство представлялись ему и мелкими, и прямо ошибочными.

Но, в свою очередь, поспорю с Александром Ивановичем: это ведь Толстой написал – «С тяжелого воза надо сначала скинуть столько, чтобы можно было опрокинуть его. Настало время уже не скидывать понемногу, а опрокинуть...»

Достается и философам, публицистам, критикам – Чаадаеву, славянофилам, западникам, Белинскому, Герцену. Правда, автор всё же находит несколько имен, достойных скупой похвалы:

Закончим речь о прошлом нашей литературы перечислением имен крупнейших писателей, революционность которых не подлежит сомнению. Этих имен не много, а именно: в 18-м веке – А.Н.Радищев, в 19-м – М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский, Н.К.Михайловский и Гл. И.Успенский.

Не включил в свой обзор Тиняков «М.А.Бакунина и П.А.Кропоткина, П.Л.Лаврова и Г.В.Плеханова или из наших современников – Н.Ленина», так как в литературе они занимают «лишь очень скромное место».

Затем Александр Иванович переходит к самому недавнему прошлому:

Наши писатели последних десятилетий в общем были настроены гораздо радикальнее наших писателей прошлого и стояли гораздо левее их. Среди них не было почти никого, кто высказывался бы прямо в защиту самодержавия или просто в монархическом духе; наоборот, почти все они «мечтали о революции», а многие и призывали ее. <...> Но вот грянул гром Великой Пролетарской Революции – и что же мы увидели?

Эта часть если не дословно, то смыслово повторяет рецензии Тинякова, собранные в книге «Пролетарская революция и буржуазная культура». И главные антигерои те же: Зинаида Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, Блок, Брюсов. Кое-где приводятся новые факты (все-таки прошло лет пять с написания тех рецензий):

Выпустив в свет книжку таких стихов («Последние стихи», 1918 год. – *Р.С.*), З.Гиппиус совершенно свободно проживала в красном Петербурге, вместе с своим супругом – Д.С.Мережковским, который издавал книги, читал лекции, за что и получал щедрые гонорары от Советской власти. <...> В ноябре месяце 1917 г. г-жа Гиппиус писала:

Мы	стали	псами	подзаборными,
Не			уползти!
Уж	разобрал	руками	черными
Викжель		–	пути...

Советская власть собрала разобранные пути, наладила движение, и господа Мережковские поспешили «уползти» (в феврале 1920-го. – *Р.С.*) ... Но перестали ли они быть, при этом, «псами подзаборными», – это еще большой вопрос для нас...

А вот про Сергея Городецкого, к которому вскоре Тиняков будет писать в Москву, прося о помощи:

В эпоху первой революции он пописывал стишки демократического содержания, в 1914 г. он разразился целой патриотической книгой «14-й год» (издание «Лукоморья»), где в стихотворении «Сретение царя» воспевал Николая II и называл его «великим», – в годы революции он мирно жил на Кавказе под властью белых, а после переворота, как сообщает «Нижегородская Коммуна», стал на сторону Советской власти, вступил в Азербайджанскую коммунистическую партию, занял пост заведующего Бакинско-Кавказским Роста и снова начал помещать демократически-интеллигентские стишки в Советских изданиях.

Есть что предъявить Тинякову и Горькому:

Даже М.Горький одно время не хотел признавать правды Октябрьского переворота, старался видеть в революции только ее отрицательные стороны и писал, что «мы звериная страна, дикий народ, как это со страшной очевидностью показала нам революция».

В общем, досталось почти всем, за исключением разве что футуристов, имажинистов и новокрестьянских поэтов, которых Александр Иванович попросту не упомянул.

* * *

В четвертом номере «Печати и революции» за 1923 год появилась, кажется, самая большая прижизненная рецензия на произведения героя моей книги – две с половиной страницы журнала большого формата. Автор – В.Ваганян. Видимо, это Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян, член РСДРП с 1912 года, член ВЦИК в 1918–1920 годах, литератор, сотрудничавший в том числе и в журнале «Красная новь». В 1936 году приговорен к расстрелу на Первом московском процессе.

Приведу из рецензии несколько выдержек. По-моему, это интересно тем более, что критикует книгу партийный деятель.

Гражданин Тиняков поставил себе невыполнимую задачу, поэтому неудивительно, что его статья вышла такая нелепая и несуразная. <...> Нужно быть круглым невеждой, чтобы теоретические искания Белинского, *которые и делали его великим революционером*, считать за реакционность. А.Тиняков ухитряется <...> опираясь на Плеханова, доказать, будто Белинский, «пережив увлечение социализмом, в конце своей жизни опять *вернулся к монархизму*» <...>.

Не менее яростно клеветает А.Тиняков на Герцена <...>. Начинаешь подозревать, что сей господин имеет какую-то родственную связь с «Новым Временем» Суворина, – ведь вот поразительное же совпадение, и он и те заняты дискредитированием великих революционеров, мещански-пошлыми кивками и сплетнями, выдергиванием фраз, подлогом и мошенническими проделками, и тот и те *заняты возведением в монархический сан всех великих писателей русской земли*, и если к этому прибавить то, что А.Тиняков из русской литературы заботливо исключает Плеханова, Ленина и др., то картина получается полная <...>.

Книжку издал Орловский Госиздат. Почему? Кто дал Орловскому отделению Госиздата право тратить народные деньги на издание черносотенных памфлетов?

Кто пойдет под суд за издание на народные деньги этой сплошной клеветы на русскую литературу?

В «Отрывках из моей биографии» Тиняков называет эту рецензию «особенно нелепой заметкой», а автора ее характеризует как человека, совершенно не умеющего «выражаться по-русски».

Критика видного партийца Александра Ивановича не остановила: «Значительно дополнив эту работу, я предложил „Новой Москве“ выпустить ее 2-м изданием. Издательство согласилось, дало мне небольшой аванс, но Главлит издание запретил, несмотря на то что такой строгий и глубоко образованный марксист, как проф. В.М.Фриче, признавал издание моей книги желательным. Вполне убежден, что мыслям, высказанным в моей работе, предстоит еще большое будущее». Мне сложно понять, почему Тиняков придавал такое значение этой книге. Написана «Русская литература и революция» была, как я уже отмечал, летом 1920 года, во время войны, но что заставило Александра Ивановича напечатать ее в 1923-м, когда он уже издал «Треугольник» и явно отходил от агитационной прямолинейности?..

Неудача с переизданием «Русской литературы и революции» совпала с потерей работы: после закрытия «Последних новостей» в апреле 1924-

го в периодике Петрограда/Ленинграда встречаются лишь единичные тиняковские публикации. Подготовленные и заявленные в «Треугольнике» книги не находили издателя. И, видимо, выпуск за свой счет «Его sum qui sum» тиражом 2000 экземпляров стал или жестом агрессивной безысходности, или последней попыткой быть увековеченным в русской литературе. И то и другое Александру Ивановичу, как показывает время, удалось – жест замечен.

* * *

Сборник выпущен в конце 1924-го (на обложке 1925-й), «Ленинград. Издание автора». В нем двенадцать стихотворений, предисловие и послесловие.

Появление этого сборника пусть и в молодом, но уже окрепшем СССР удивительно. В годы нэпа издать за свой счет книгу мог (теоретически) любой, но, естественно, не любого содержания. Почти каждое из тиняковских стихотворений буквально вопиет об отчаянии отдельно взятого человека в коллективном обществе, призывает быть одиночкой, хищным и агрессивным, потому что только так возможно уцелеть...

Эпиграфом к «Его sum qui sum» вполне можно поставить возникший позже в лагерях девиз: «Сегодня ты, завтра – я», который в девяностые годы внедрился в ткань общенародного сознания. Не раз приходилось слышать эти слова от вполне интеллигентных людей – интеллигентных, но доведенных до предела.

Причем, отстаивая в стихах право индивида всеми силами, всеми правдами и неправдами бороться за существование, Тиняков не оправдывает это тем, что его герой чем-то лучше большинства остальных. Нет, герой его – обыкновенный человек, ничем не выдающийся, но тем не менее очень хотящий жить дальше, знающий, что для него-то центр вселенной не Бог, не коммунизм, не монархия, а – он сам.

Я судьбу свою горькую, мрачную

Ни	на	что	не	желаю	менять:
Начал	жизнь	я	мою	неудачную,	—
Я	же	буду	ее	и	кончать!
Больше	бога,		Героя	и	Гения
Обожаю			себя		самого,
И	святых		моего		поклонения
Нет	на	нашей		земле	ничего.

Неудачи		мои		и	пороки
И	немытый,		в	расчесах,	живот,
И	бездарных		стихов	моих	строки,
И	одежды		заношенной	пот	—
Я	люблю		бесконечно,		безмерно,

Больше		всяких		чудес		бытия,
Потому		что	я	знаю		наверно,
Что	я	-		это	-	Я!
Я	не	лучше	других,	не		умнее,
Не	за	силу	и	доблесть		мою
Я	любовью		к	себе		пламенею
И		себе		славословье		пою.
Я	такой	же	бессильный		и	тленный,
Я	такая		же	тень		бытия,
Как	и	все	в	бесконечной		вселенной,
Но	я	-		это	-	Я!

Страшный, уродливый, но романтизм. Подобный романтизм расцвел в конце тридцатых во Франции. Мир трещал по всем швам, но индивиду до этого не было дела – он хотел поплотнее поесть, совокупиться, выпить, не дать себя в обиду никаким силам. Первые романы Генри Миллера пышут этими желаниями. Обыкновенными для реального человека, но дикими для литературы.

...Написав этот абзац в очерке «Одинокий» (2011), я до самого недавнего времени сомневался, стоит ли сравнивать книги Луи Селина, Генри Миллера со стихами Тинякова. Казалось бы, разные планеты. Но вот недавно, собирая материалы для этой биографии, я наткнулся на письмо Георгия Иванова Роману Гулю от 29 июля 1955-го, в котором Иванов, кроме прочего, вспоминает о своей повести «Распад атома». И в письме есть такое признание:

«Атом» должен был кончаться иначе: «Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда, никогда англичанин не будет рабом!» Выбросил и жалею. Так же как жалею, что не вставил песенки «Жил был Размахайчик Зеленые Глазки», которую Вы, кажется, знаете. Эпатажа, пожалуй, немножко пер[епугался?]. Но ведь в 1937 году, заметьте, когда Миллера и в помине не было. «Заимствовал» же я многие «образы» – мертвая девочка и пр. – у бессмертного Ал. Ив. Тинякова-Одинокого, сотрудника «Весов», члена Союза русского народа, потом члена коллегии Казанской че-ка. Я его поил водкой, а он изливал душу. Очень было любопытно и органически-неподдельно. Были, вперемежку, и стихи:

Я	вступил	в	половые	сношения
Со	старухой		преклонного	возраста.

Ну, «Тропик Рака» Генри Миллера вышел в 1934-м, за четыре года до «Распада атома», но здесь важнее для меня, что Георгий Иванов связывает эти два имени: Миллера и Тинякова. Впрочем, и себя с ними тоже.

Мысль о том, что Тиняков был не только источником сюжетов (вернее, вариаций одного сюжета) для мемуарных очерков Георгия Иванова, но и влиял на его стихи и жизнь, находим во вступительной статье к собранию сочинений Иванова в трех томах (1994) Евгения Витковского:

В юности Иванова и его героев мучил вопрос – отчего никак не пишется лучше, чем прежде. В последнее десятилетие жизни Иванова стал мучить вопрос прямо противоположный:

Мне	говорят	–	ты	выиграл	игру!
Но	все	равно.	Я	больше	не играю.
Допустим,	как	поэт	я	не	умру,
Зато	как	человек	я		умираю.

<...> Думается, живший в те годы в Париже Иванов... книги Тинякова («Его sum qui sum». – *Р.С.*) никогда в глаза не видел. Но образ его оказал на позднюю поэзию Георгия Иванова несомненное влияние.

Чья рука написала в конце 1940-х годов такие строки?

Надобно			опохмелиться.
Начал		дедушка	молиться:
«Аллилуйя,			аль-люли,
Боже,		водочки	пошли!»
Дождик	льет,	собака	лает,
Водки	Бог	не	посылает.

Трудно поверить, что не рука автора <...> «Моления о пище». А это – стихи Георгия Иванова. Но Г.Иванов, которому от природы было дано очень и очень много, превращая себя в «Распаде атома» и в поздних стихах в «проклятого поэта», с одной стороны, не рядился в нищие, с другой – располагал подлинным поэтическим даром, позволяющим творчески выразить и преобразить все то прекрасное, все то

безобразное, что виделось ему в себе и в окружающем мире. Тиняков ценой страшного «жизнеделания» обессмертил себя как скверный литературный анекдот. Иванов – говоря его же словами – «ценой собственной гибели» вошел в русскую литературу и занял в ней очень важное, одному ему принадлежащее место^[26].

Пройдет года четыре после выхода трехтомника Георгия Иванова, и Тиняков вернется не только как скверный литературный анекдот (который все рассказывает и пересказывает Иванов), а и толстой книгой своих стихотворений.

* * *

А мы вернемся к «Его sum qui sum»^[27].

Стихам предпослано предисловие, своего рода тиняковский манифест:

Я знаю, что многие читатели встретят мои стихи с негодованием, что автора объявят безнравственным человеком, а его книжку – общественно-вредной.

Такой подход к делу будет, однако, вполне неправильным.

Дело поэта, – как и всякого художника, – состоит не в том, чтобы строить или переустраивать жизнь, и не в том, чтобы судить ее, а в том, главным образом, чтобы отражать ее проявления.

В жизни же, как известно, всегда было, есть и будет, на ряду с тем, что считается прекрасным и добрым, и то, что признается безобразным и злым. Художник, в моменты творчества по существу своему чуждый морали, волен изображать любое проявление жизни, «доброе» рядом с «злым», «отвратительное» наряду с «прекрасным».

За сюжеты и темы поэта судить нельзя, невозможно, немислимо! Судить его можно лишь за то, как он справился со своей темой.

Я в моей книге беру современного человека во всей его неприкрашенной наготе.

Рожденные и воспитанные в нездоровых и неестественных условиях, созданных развитием капитализма, все мы – вплоть до самых лучших из нас, – не свободны от эгоизма, от известной косности и распущенности, от склонности к различного рода эксцессам и т. п.

Поскольку я являюсь общественным деятелем – хотя бы, напр., в качестве сотрудника Советских газет, – я боролся и борюсь с такими антиобщественными навыками и склонностями, но поскольку я выступаю в качестве художника, желающего отразить психологию, скажем, кутилы или дошедшего до предельной черты эгоиста, тем более, если я говорю от лица подобных типов, – я не могу в то же время судить их и подчеркивать в моих стихах, что эти типы – плохи и что их ощущения, переживания и действия суть «зло». <...>

И, наконец, еще одно замечание по поводу стихотворения «Радость жизни», в котором упоминается имя Гумилева. Стихи эти были написаны более чем за месяц до смерти Гумилева, и тогда же я читал их моим литературным знакомым. Отсюда ясно, что никакого отношения к политической деятельности Гумилева и к ее драматическому концу мои стихи не имели и не имеют. По поводу нелепой и преступной авантюры, в которой принял участие Гумилев, я высказался в свое время на страницах «Красн. Балт. Флота» (10 сентября 1921 г. № 90) и мнения моего об этом деле не меняю, и не вижу никакой надобности в том, чтобы делать из имени Гумилева нечто «неприкосновенное».

Александр Тиняков

7-го июня 1924 г.

Ленинград

Если уж герой моей книги сам завел речь о Гумилеве и упомянул публикацию в «Красном Балтийском флоте», то стоит на время оторваться от книги и вернуться в 1921-й.

Николай Гумилев был арестован как участник так называемого таганцевского заговора 3 августа и в ночь на 26 августа расстрелян. 10 сентября газета, в которой тогда работал Тиняков, напечатала несколько материалов, так или иначе связанных с таганцевским делом и приведенным в исполнение приговором.

Александр Иванович под псевдонимом Герасим Чудаков отметилс я аж тремя публикациями - статьями «Их не усовестить!», «Работа буржуазной интеллигенции» и стихом «Заговорщики» («...Шестьдесят мерзавцев с лишком / Угодили под расстрел: / Власть народа покарала / Тех, кто жаждой зла горел!..»).

В статье «Работа буржуазной интеллигенции» есть непосредственно про Гумилева:

В списке расстрелянных 24-го августа контрреволюционеров, рядом с именами купцов и церковных старост, форменных провокаторов, вроде Аркадия Бака и всякого рода дворян, мы находим и имена: профессора Лазаревского, скульптора князя Ухтомского и поэта, кстати сказать, весьма таки бесталанного, Николая Гумилева. <...> Все эти скульпторы, поэты, профессора, князья, помещики и пр. готовились взорвать центральный питерский водопровод и артиллерийский склад на Выборгской стороне, хотели поджечь нефтяные склады Нобеля и лесные склады Громова и уже делали покушения на самых видных, наиболее дорогих рабочему классу, коммунистов.

Тогда, в 1921-м, многие литераторы, может быть, не заметили этой статьи (газета была не из популярных), может быть, не знали, кто скрывается за Герасимом Чудаковым, поэтому пусть и неохотно, но поддерживали отношения с Тиняковым, но книжка «Его sum qui sum» стала причиной того, что литературное сообщество от него в очередной раз отвернулось. Главным образом из-за этого стихотворения. Называется оно – «Радость жизни».

Едут	навстречу	мне	гробики	полные,
В	каждом	–	мертвец	молодой,
Сердцу	от	этого	весело,	радостно,
Словно		березке		весной!

Вы	околели,	собаки	несчастные,	—
Я	же	дышу	и	хожу.
Крышки	над	вами	забиты	тяжелые,
Я	же	на	небо	гляжу!

Может,	–	в	тех	гробиках	гении	разные,
Может,			–	поэт		Гумилев...
Я	же,	презренный		и	всеми	оплеванный,
Жив			и			здоров!

Скоро,	конечно,	и	я	тоже	сделаюсь
Падалью,			полной		червей,
Но пока	жив,	–	я	ликую	над
Раньше			умерших		трупами
					людей.

28 июля 1921

Сейчас прочитал его в сотый или двухсотый раз и могу сказать одно слово: жутко. Бог с ним, с Гумилевым, – его Александр Иванович давно не любил, считая более успешным соперником и в поэзии, и вообще в жизни, – но ведь тиняковский герой и насчет себя не питает никаких иллюзий и ценности своей жизни не видит...

Не исключено, что «Радость жизни» действительно написана до ареста и расстрела Гумилева. Что Тиняков употребил фамилию именно этого поэта, достаточно объяснимо: Гумилев был воплощением активного, некабинетного бытия в поэтическом мире Петербурга. Путешествия в Африку, действующая армия, своя поэтическая школа, успех у женщин... И вот такой человек от какого-нибудь тифа или от голода умирает, а ничтожный герой стихотворения остается жить. Хоть на несколько дней («Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь / Падалью, полной червей»), но протянет на этой земле дольше, чем жаждавший действия, приключений кумир тысяч барышень и юношей. Да и многолетнюю

любовь Тинякова к Анне Ахматовой, его ревность к более удачливому ровеснику Гумилеву нельзя не учитывать.

* * *

Какие еще стихи включил в свою последнюю книгу Александр Иванович...

Помнится, в 1916-м наш герой в духе первых христиан заявил в статье в «Земщине»: «...от Иисуса Христа не отрекись». Позже прямо Христа он не оскорблял, а в «Треугольник» включил проникновенное стихотворение от его лица, которое привел в своей рецензии Михаил Павлов. И все же в феврале 1922-го Тиняков решился, написал, а в 1924-м опубликовал:

Долой Христа!

Палестинский			пигмей			худосочный,
Надоел		нам		жестоко		Христос,
Радость		жизни	он	сделал		непрочной,
Весть	об	аде	он	людям		принес.
Но	довольно		возиться	с		распатым
И	пора	уж	сказать:	он	–	не бог;
Он		родился	и	вырос		проклятым,
По-людски		веселиться		не		мог.
И	без	дела	бродил	по		дорогам,
И	в	душе	был	мертвей		мертвеца,
И,		ютясь	по	глухим		синагогам,
Проповедовал			близость			конца.
В	наше	время	его	б		посадили
К	сумасшедшим,		за	крепкую		дверь,
Ибо	верно	б	теперь			рассудили,
Что	он	был	вырожденец	и		зверь.
Но	тогда	его	глупые			речи
И		запачканный,	грубый			хитон
Поражали			сильнее			картечи
Истеричных		подростков		и		жен.
И	хоть	взял	его	царственный		Ирод,
И	распал	его	мудрый			Пилат.
Все	же	был	им	в	сознании	вырыт
Отвратительный,			мерзостный			ад.
Но	довольно		садиста		мы	чтили,
Много	крови	он	выпил,			вамфир!
Догнивай	же	в	безвестной	могиле,		—
Без	тебя	будет	радостней			Мир!

С одной стороны, стихотворение, по-моему, слабое, примитивное и прямолинейное, с другой – для человека, выросшего в глубоко православной семье, это страшный поступок. Тиняков словно бы проклял не Иисуса, а самого себя, добровольно лишился главной точки опоры.

Куда тоньше и при этом сильнее о подобном сказал он в стихотворении под названием «Homo Sapiens»:

Существованье				беззаботное
В	удел	природа	мне	дала:
Живу	-	двуногое	животное,	—
Не	зная	ни	добра,	ни зла.
Всегда		покорствую	владыке	я,
Который		держит	бич	и корм,
И	чужды	мне	стремленья	дикие
И		жажда	глупая	реформ.
Услышу	коль	про	бога	я, —
Я	только	прыскаю	в	кулак:
Чья	мысль		бездарная,	убогая
Могла	в	пустой	поверить	знак?
В	свои	лишь	мускулы	я верую
И	знаю:		сладостно	пожрать!
На	все,	что	за телесной	сферою,
Мне		совершенно		наплевать.
Когда	ж	промчатся	дни	немногие
И	смерть	предстанет	предо	мною,
То	протяну	спокойно	ноги	я
И	мирно		сделаюсь	землей.

Вот такой, как говорили в советское время, *крайний индивидуализм*...
Завершает книгу послесловие, которое было написано намного раньше предисловия:

В моей книге высказана некая несомненная правда.
Но правда не есть Истина, – это читатели должны помнить, во-первых.
Во-вторых, – я предвижу, что иные читатели, безглаголиво улыбаясь, будут говорить: «Это автор про себя писал!»
Не совсем так.
Конечно, я писал и о себе (что бы я был за урод, если бы мне были чужды переживания, изображенные в моей книге!) – но все же больше я писал о тебе, – читатель-современник.

Александр Тиняков
1-го Февраля, 1922.

Петербург

Через полгода с небольшим после выхода книги Александр Иванович в «Отрывках из моей биографии» отметил: сборник «также был глупо облаян мелкотравчатыми газетными борзописцами. На самом деле эта маленькая книжечка – одно из самых замечательных явлений в области нашей новейшей поэзии».

Мне попался один отзыв на эту книгу. В сатирическом журнале «Смехач»^[28] под рубрикой «Тараканы в тесте» есть такой текстик:

Поэт Александр Тиняков издал свою третью книгу стихов под названием «Аз есмь сущий».

Приводим из этой книги следующее четверостишие:

Все	мило	для	мудрого	в	мире,
Все	свято	для	чистого	в	нем:
Сидеть	ли,	наевшись,	в	сортире,	
Упитья	ль	до	хмеля	вином.	

До сих пор подобное творчество не выносилось за пределы убогих; Александр Тиняков пришел к убеждению, что теперь самая пора приступить к полному собранию его сочинений, разбросанных по стенкам стихохранилищ, на дверях которых имеется надпись: «Для мужчин».

* * *

В конце марта 1926 года Александр Иванович сделался нищим.

Вернее, *профессиональным нищим*, как часто уточняли историки литературы еще в советское время по отношению именно к Тинякову.

Я долго не мог понять, что значит «профессиональный нищий», но по мере того как открывались подробности его жизни после ухода из литературы, понимание появлялось и крепло.

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова у слова «нищий» есть два толкования. Первое: «очень бедный, неимущий» и второе: «человек, живущий подаянием, собирающий милостыню». Вот в этом, втором, значении нищим и прожил Александр Иванович почти пять лет.

Мог бы, наверное, подобно своему собрату, поэту Константину Олипову, переqualificироваться в управдомы, в разнорабочие, но выбрал стояние на панели с протянутой рукой.

Довольно долгое время преобладала одна точка зрения на этот тиняковский поступок: спился, потерял человеческий облик, опустился на самое дно. Историки литературы повторяли то, что написал о

Тинякове Михаил Зощенко в повести «Перед восходом солнца» (советскому читателю 1970–1980-х ее большой фрагмент был известен под названием «Повесть о разуме»).

Глеб Морев, кажется, первым из литературоведов открывший уголовное дело Тинякова и скопировавший часть содержащихся в нем дневниковых записей, в 2018-м опубликовал статью «Нет литературы и никому она не нужна», в которой, на мой взгляд, убедительно доказывает, что причиной ухода Александра Ивановича в нищие был не алкоголизм. Нищенство стало демонстрацией, формой протеста: «Вариант писательской социализации, предложенный весной 1926 года Тиняковым, не имел ничего общего с бессознательным „падением“ – это был его решительный и принципиальный выбор, все мотивации, общественно-политические смыслы и риски которого прекрасно им осознавались и тогда же вербализировались»^[29].

Но перед тем как сделать этот шаг, Александр Иванович все-таки пытался найти работу, продолжить сотрудничать с газетами и журналами.

В апреле 1925 года, которым датированы «Отрывки из моей биографии», на Тинякова как на газетного работника (правда, уже, видимо, по-современному говоря, фрилансера) еще есть кое-какой спрос:

Повторю в заключение, что описание моей жизни, как внешней, так в особенности внутренней, не вмещается в рамки краткой автобиографии.

Описать же все подробно сейчас не могу: нет времени и нет... средств. Каждый день я должен читать чепуху и писать о ней пустяки, чтобы не остаться без куска хлеба и без крова над головой.

Но положение нашего героя явно и стремительно ухудшалось: летом того года публикации в периодике, авторство которых без сомнения принадлежит Тинякову, можно встретить буквально считаное число раз. На двух из них хочу остановиться.

В начале лета 1925 года Ленинградское общество библиофилов выпустило замечательную книгу «Образ Ахматовой. Антология». Уникальный факт – не каждый большой писатель и после смерти удостоивается такого томика, а здесь еще сравнительно молодая женщина, настоящая слава (а не популярность) к которой придет позже.

Составителем и автором большой вступительной статьи стал Эрих Голлербах, собравший под одной обложкой стихотворения, посвященные Анне Ахматовой. Среди них и приведенное мной выше стихотворение Тинякова 1913 года.

Вот так он на закате своего писательского пути оказался в соседстве с Блоком, Гумилевым, Сологубом, Кузминым, Мандельштамом, Цветаевой, Садовским, Михаилом Лозинским, Городецким...

Тиняков написал на «Образ Ахматовой» маленькую (наверное, это было условие издания) рецензию, которую напечатали в театральном журнале (уже не газете) «Жизнь искусства».

Кажется, ни об одном из русских писателей, за исключением Пушкина, не было написано столько стихов, как об Ахматовой. Но о Пушкине писали, главным образом, после его смерти – Ахматова же воспета при жизни. Это вполне понятно, так как образ Ахматовой – единственный, и трудно указать человека, в котором личность и творчество были бы слиты столь тесно и гармонически, как они слиты в Ахматовой. Общество библиофилов превосходно поступило, собрав все наиболее значительные стихи, написанные об Ахматовой. Вступительная статья Голлербаха лишний раз показывает, что в его лице мы имеем не только чуткого и тонкого, но и умеющего глубоко мыслить критика. Жаль только, что книга – уже с самого ее появления в свет – становится библиографической редкостью: она издана всего в количестве пятидесяти экземпляров.

Добавлю, что в том же году последовало второе издание книжки, но опять же микроскопическим тиражом...

А в том же номере «Жизни искусства» еще две короткие рецензии Александра Ивановича. На книги Стефана Цвейга «Жгучие ожидания» и Якоба Вассермана «Человек с гусями».

Недели через две после выхода журнала Тиняков встретил на Литейном проспекте Ахматову и поведал, «что автор рецензии в „Жизни искусства“ – он и еще что-то в этом роде»^[30]. Об этом Анна Андреевна посчитала нужным сообщить в письме Николаю Пунину, с которым у нее были (выражусь осторожно) почти супружеские отношения.

Но двинемся дальше вслед за уходящим в *профессиональные нищие* Александром Ивановичем.

В сентябре 1925-го он отправляется в Москву. Подробностей поездки, сведений о ее цели почти нет, но она угадывается – Тиняков попробовал там устроиться.

Остановился, скорее всего, у земляка, поэта Евгения Сокола, хорошего знакомого Сергея Есенина. Подтверждениями поездки в Москву служат выдержка из тиняковского дневника, приведенная мной в главке об Иване Рукавишникове (который после смерти Брюсова и упразднения Брюсовского института наверняка сам был без места – по крайней мере, о последних пяти годах жизни Рукавишникова мне ничего внятного найти не удалось), и хранящееся в РГАЛИ стихотворение Тинякова, вписанное в альбом Сокола с датировкой «8 сентября 1925 года. Москва». Оно было опубликовано в «Живом журнале» в 2011 году

загадочным, но знаменитым в Сети историком литературы с ником lucas_v_leyden (позже автор рассекретился, выпустив двухтомник «Летейская библиотека. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века», и оказался литературоведом Александром Львовичем Соболевым).

По форме и содержанию стихотворение близко к тем, что вошли в сборник «Его sum qui sum», поэтому приведу только первую строфу:

Не	нужны	ни	солнце,	ни	птицы,
Ни	правда,	ни	совесть,	ни	честь,
Ни	прелесть	весны	и	столицы,	—
А	только	б	дорваться	—	поесть...

В столице у Тинякова, судя по всему, ничего не получилось. Он вернулся в город на Неве и через полгода стал нищим.

* * *

Справедливо утверждает Глеб Морев: Александр Иванович подготовился к этому шагу. В марте 1926 года подал заявление о выходе из Всероссийского Союза писателей «ввиду несовместимости <...> звания члена ВСП с нищенством», изготовил табличку с надписью «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нужду», запасся экземплярами своих книг для продажи. В конце марта тридцатидевятилетний поэт-декадент Одинокий / черносотенный журналист Куликовский / революционный публицист Герасим Чудаков встал под стеной здания, в котором располагалось кооперативное книгоиздательское товарищество «Колос» (в следующем году оно будет ликвидировано). Кажется, первый портрет Тинякова периода нищенствования дает в своем дневнике Корней Чуковский:

24 апреля. Суббота. Был у меня Тиняков. Принес свою книжку и попросил купить за р у б л ь. – Что вы теперь пишете? – спрашиваю е г о. – Ничего не пишу. П о б и р а ю с ь. – То есть как? – А так, прошу милостыни. Сажу на Литейном. Рубля 2 с полтиной в день вырабатываю. Только ногам холодно. У меня и плакат есть «ПИСАТЕЛЬ». Если целый день сидеть, то рублей пять можно выработать. Это куда лучше литературы. Вот я для журнала «Целина» написал три статьи – «о Некрасове», «о Есенине» и (еще о чем-то), а они ни гроша мне не заплатили. А здесь – на панели – и сыт и п ь я н. – И действительно, он даже пополнил^[31].

Раз десять за жизнь я читал эту запись, но ни разу не возникало любопытства, что это за «Целина». Работа над книгой любопытство возбудила.

Я раздобыл в Российской национальной библиотеке две тоненькие подшивки «Целины». Наверное, той, какую имел в виду Тиняков, – «Литературно-художественный Крестьянский Сборник. Издание Ленинградского Губернского Отдела Всероссийского Союза Крестьянских Писателей имени В.И.Ленина».

В одной подшивке два номера «Сборника»: № 1 (месяц не указан, год 1925) и № 2-3 (август). В другой – два номера «Крестьянского двухнедельника»: № 1 (декабрь 1925) и № 2 (январь 1926).

Публикаций Тинякова я не обнаружил, ни один из материалов не близок его слогу. Во втором номере двухнедельника помещен некролог на смерть Есенина. Его наверняка писал не Александр Иванович, но процитирую слова, которые теперь воспринимаются, так сказать, неоднозначно: «...Нет никакого сомнения, что если бы Есенину суждено было прожить дольше, он создал бы первоклассные художественные произведения и – в частности – поведал бы миру великую правду о нашем крестьянстве, о его затаённых чувствах и переживаниях. К сожалению, у поэта не хватило сил для борьбы со всеми противоречиями и соблазнами жизни, и он покончил с собой на 31 году жизни».

Есть большая для такого издания – полоса с лишним – статья «Уроки недавнего прошлого», где много критики в адрес «любимых» Тиняковым персонажей – Гиппиус, Мережковского, Сологуба, Бальмонта. Но слог проще и топорнее, чем у Герасима Чудакова.

В выходных данных читаем: «Заведывающий Редакцией Усас-Водкин, Ответственный Редактор Н.Маторин». Первый, видимо, Усас-Водкин (настоящее имя Усас Станислав (Серафим) Матвеевич, 1882–193?) – писатель, журналист; редактор сатирического журнала «Свобода» (1905), «Мужицкой газеты» (Ленинград, 1926). А второй, скорее всего, Николай Михайлович Маторин, в будущем один из первых советских этнографов, расстрелянный в 1936-м тридцати восемью лет от роду.

Такое вот знакомство с мелькнувшим на поле советской периодики середины 1920-х изданием «Целина». Тиняков в нем, судя по всему, не отметился.

Встречал я его фамилию в дневнике Чуковского еще раз – в связи с выпуском номеров «Русского современника», который уже тогда, в 1924-м, называли последним *небольшевистским журналом*. Вышло четыре номера, после чего он был запрещен. Вот три записи, показывающие, в каких условиях шла работа редакции:

23/IX 24. <...> С «Современником» неприятности. Дней пять назад в Лито меня долго заставили ждать. Я прошел без спросу и поговорил с

Быстровой. Потом сидящий у входа Петров крикнул мне: «Кто вам позволил войти?» – «Я сам себе позволил». – «Да ведь сказано же вам, что у Быстровой заседание». – «Нет, у нее заседания не было. Это мне сообщили неверно!» – «А! хорошо же! Больше я вас никогда к ней не пущу». – «Пустите!» (И сдуру я крикнул ему, что вас, чиновников, много, а нас, писателей, мало; наше время дороже, чем ваше!) Это вывело его из себя. А теперь как нарочно звонят из Лито, чтобы я явился и дал список всех сотрудников «Современника» – хотят их со службы прогонять. И адресоваться мне нужно к тому же Петрову: нет, не интересно мне жить.

29 сент. <...> В цензуре дело серьезно. Юноша Петров, очень красивый молодой человек, но несомненно беззаботный по части словесности, долго допрашивал меня, кто наши ближайшие сотрудники. Я ответил, что это видно из книжек журнала: кто больше пишет, тот и ближайший. Тогда он вынул какую-то бумажку с забавными каракулями:

Тиняков
Эйхенбаум
Парнок Сопха
Зуев
Магарам

И стал допрашивать меня, кто эти писатели. Я ответил ему, что вряд ли Парнок зовут Сопха, но он отнесся ко мне с недоверием. О Зуеве я объяснил, что это вроде Козьмы Пруткова, но он не понял. Тинякова у нас нет, есть Тынянов, но для них это все равно. Тынянову я рассказал об этом списке. Он воскликнул:

– Единственный раз, когда я не обижаюсь, что меня смешивают с Тиняковым.

Самая неграмотность этой бумажонки показывает, что она списана с какого-то письма, написанного неразборчивым почерком. Удивительная неосведомленность всех прикосновенных к Главлиту.

4 или 5 октября. <...> С цензурой опять нелады. Прибегает Василий (в субботу) – «К.И., не пускают „Современник“ в продажу!» – «Почему?» – «Да потому, что вы вписали туда одну строчку». Оказывается, что, исправляя Финка, я после цензуры вставил строчку о суздальском красном мужичке, которого теперь живописуют как икону. Контроль задержал книгу. Бегу на Казанскую, торгуюсь, умоляю – и наконец разрешают. Но на меня смотрят зловеще, как на оглашенного: «Редактор „Современника“»...^[32]

Ну вот в таком положении оказалась отечественная литература в 1924-м. Места Тинякову здесь явно не предусматривалось...

(Кстати будет заметить, что смешивали Тынянова и Тинякова, видимо, часто. Вот литературная байка из книги Евгения Шварца «Телефонная книжка», фрагмент главы «Дом кино»: «Считали они себя самым искренним образом самыми главными на земле. Был такой поэт по фамилии Тиняков, человек любопытный. Он просил на улице милостыню по принципиальнейшему и глубокому отрицанию каких бы то ни было принципов. И кто-то из Дома кино сказал: „Слыхали? Тынянов-то! Пока работал у нас, человеком был, а теперь на улицах побирается?“ Мало того, что Тиняков и Тынянов звучало для них одинаково. Они понятия не имели, что у Тынянова вышли романы, наделавшие шуму».)

Одно из самых, пожалуй, пронзительных свидетельств тиняковского нищенствования можно найти в книге Павла Лукницкого «Встречи с Анной Ахматовой». Вот запись из его дневника от 15 июня 1926 года: «По дороге к Замятиным, на Симеоновской, увидела просящего милостыню Тинякова. Смутилась страшно. Но подошла. Поздоровалась... После двух-трех слов спросила – можно вам двадцать копеек положить? Тот ответил: „Можно...“ АА эта встреча очень была неприятна. Было очень неловко»^[33].

(Эх, как бы хотелось узнать, как Ахматова поздоровалась, что это были за два-три слова, почему ей было неловко!)

Уход Тинякова в нищие явился, по общему мнению тогдашнего петроградского общества, уже окончательным финалом его непутёвой жизни. Потеря человеческого облика...

Такое мнение сохраняется у большинства по отношению к нему и в наше время. Но Александр Иванович не превратился в нищего в общепринятом смысле слова: имел крышу над головой, довольно большую библиотеку и ценный архив – каким-то образом они сохранились с еще дореволюционного времени; в 1928 году он женился на учительнице английского языка Марии Николаевне Левиной.

А главное, Тиняков писал дневник – о существовании которого стало известно относительно недавно. Глеб Морев наткнулся на выдержки из него в архиве ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где хранится уголовное дело Александра Ивановича, и частично опубликовал в своем «Живом журнале» в 2008-м. Готовясь к работе над этим очерком, я тоже посетил архив ФСБ...

* * *

Фрагменты дневника – подшитые к делу странички из школьных тетрадок – нужны были следствию для доказательства антисоветской деятельности Тинякова. Особенно важные высказывания подчеркнуты

красным карандашом. Но есть в дневнике и лирические, и вполне бытовые записи, сложные математические выкладки, много внимания уделяется подсчету денег.

Вот несколько записей. Часть взята из «Живого журнала» Глеба Морева, часть расшифрована мной.

7 ноября [1929]. В прошлом году в этот день мы с Муричкой были вместе, гуляли по Невскому. Теперь я пришел в 6 ч., съел яблоки и булку, почитал немного Шпенглера (которого плохо понимаю) и так стало сиротливо, что пошел побродить по улицам. Невский – почти такой же, как в будни, ни особой толпы, ни огней. Шел и думал о том, что жена своим отъездом ушибла мне душу и что этот ушиб никогда не пройдет. Нашел на панели 2 коп. И хочу думать, что это – на счастье. А жену теперь в <нрзб>, наверно, ебут! Сволочь, не могла хоть весны дожждаться.

Жена вернулась, и вот запись:

26 (-13) ноября 1929 г. Мне исполнилось 43 года. Милая Муся! Милая жёнка! Подарила мне портфель...

Жена наверняка страдала от того, что ее муж занимается нищенствованием. Дневник показывает, что и сам Александр Иванович периодически пытается пристроить то в одной газете, то в другой какие-то рецензии или статьи, переписывается с Городецким, живущим в Москве, о возможности публикаций и изданий – и одновременно отвергает просьбу издателя и библиографа Петра Витязева «написать стихи на тему „Книга“»:

Я очень желал бы отозваться на Ваше предложение <...>. Но – к сожалению, – не могу! Я не могу написать что-либо в похвалу книге в то время и в той стране, где книга превращена в орудие насилия над массами и в орудие издевательства над свободой мысли, совести и слова. И вообще – я думаю – нельзя сплести «благовонного венка книге» в стране, где нет свободы печати^[34].

Немного раньше, очень кратко и односложно отвечая на вопросы анкеты для «Словаря современников» Густава Бродерсена, Тиняков без обиняков объясняет свое положение: «С 1926 г., ввиду отсутствия литературной работы, занимаюсь нищенством».

В дневнике бывший красный агитатор еще более откровенен в отношении к установившемуся строю.

28 января [1930]. Мексика порвала сношения с совразбойниками. По этому поводу, конечно, «демонстрации». Это всегда так: как только дадут по морде компалачам, так они сейчас же посылают на улицы совдураков и те ходят с красными флагами, играют «интернационал» и поют...

20 июня [1930]. На страну надвигается голод, быть может, величайший из всех, которые когда-либо переживала Россия. Половину скота порезали во время колхозного беснования: мяса почти нет и, конечно, не будет совсем, как и масла, молока, яиц. Рыбы и селёдок, из-за того же колхозного безумия, не выловили и половины того, что надо. Нет ни овощей, ни ягод, ни фруктов, ни табаку. Во вчерашней веч. газете появилась заметка о заготовке грибов, но и ведь грибов сукины дети не соберут и не заготовят. Дров тоже нет и не будет. Будет голод, будет небывалый мор и грузинский идиот Сталин будет справлять «пир во время чумы».

Но я забежал вперед. Вот очень любопытная запись накануне рокового для Тинякова 1930 года:

9 декабря. Утро.

Приближается 1930-й год. $1 + 9 + 3 = 13$! Три таких года я пережил. 1903, 1912 и 1921-й. В каждом из них случались важные для меня происшествия. В 1903 г. – начало моей литер. деятельности, личное знакомство с В.Брюсовым, Л.Андреевым и др. писателями, оставление гимназии, 1-е сношение с женщиной, смерть деда Максима Александр. В 1912 г. – издание 1-й книги и переезд на жительство в Петербург. В 1921 г. – вторичный переезд в Петерб. и смерть отца и Ал. Блока. 1930-й год – последний, дающий суммой своих цифр 13. Такой же год будет теперь лишь через 100 лет – 2029 год. Значит, 1930-й год принесет мне ряд бедствий и несчастий и последнее из них – смерть. Не так боюсь смерти, как физических мучений. Умру, вероятнее всего, в июле, как это мне предсказал в 1910 году Зобнин. Вчера говорил жене, чтобы она после моей смерти сожгла все мои бумаги.

А теперь бухгалтерия другого рода:

6 марта [1930], вечер.

Нынче на Пантелеймоновской видел Яшку Година! Он дал мне 3 копейки. Затем увидел Вс. Вишневого, поздравил его с успехом «Первой конной», и он «отвесил» мне... целых 60 коп. Это – правило: чем ни богаче становится писатель, тем жаднее. Примеры: Вяч. Шишков, Лавренёв и тот же Вишневский. Погода сегодня плохая: 3° мороза и с утра был сильный ветер. Сбор 3 р. 44 к.

14 июля 1930 г. 12 июля К.М.Аксёнов дал мне 145 экз. «Треуг[ольника]». Уплатил ему 3 р., продать же могу (если же себе оставлю 15 экз.) на 36 р. Но продать трудно, п[отому] что мелочи нет и ходить по пивным бесполезно.

Все последние дни были заняты 16[-м] съездом большевиков. Грузинский дьяволодурак еще раз поставил на колени Рыкова и Томского и мимоходом давил Крупскую. Молчал только Бухарин, но возможно, что на вчерашнем заключ. заседании и он растянулся на брюхе перед «дивной жопой Кавказа». Эти «правые», конечно, тоже сволочи, но они всё-таки понимают то, что надо же населению хоть что-нибудь жрать. Сталин же и его подручные обрекли на голодную смерть десятки миллионов людей и не поперхнулись. Им бы только самим лопать до отвала, распутничать (Калинин) и властвовать над всеми и всеми помыкать. Умерли за это время Конан-Дойль и П.Сергеенко. Конан-Дойлем я увлекался еще в гимназические годы, да и позже; помню с каким увлечением читал его «Знак 4-х» в 1904 г. в Вильне на вокзале. Книжку Сергеенко о Л.Толстом я прочитал тоже мальчишкой – в 1899 г., когда вышло ее 1-е издание. <...>

Сегодня болит голова и пугает предстоящий день отсутствием у публики «мелочи». Да и, кроме того, по-видимому начинают забирать нищих и отправлять их в «трудовые колонии», т. е. в могилы для живых.

27 августа придут и за самим Тиняковым.

А вот одна из последних записей. Здесь предвидение скорой беды очевидно, да и причины названы:

24 июля [1930].

14-го вечером к жене пришла старуха, которая в 1923 г. сватала ее за Кузнецова. Я устроил скандал и опять начал пьянствовать. 17-го июля в день поминок дедушки Макс. Ал. – я привел из пивной каких-то незнакомцев, – мужчину и женщину. К этому почему-то придрался жилец Иванов, незнакомца отправил в милицию, а на меня подали жалобу в жактовский суд, что грозит мне, конечно, большими неприятностями, а, б. м., и выселением. – В городе голодовка и эпидемия брюшного тифа. Устал я до крайности.

Согласимся: это писало не потерявшее «человеческий облик» существо. Писал некто довольно глубокий и цепляющийся за цивилизованную жизнь, смело судящий о политической и общественной жизни. И если Александр Иванович терял человеческий облик, то периодами, как немалая часть запойно пьющих.

Публикация повести в документах «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи» Вардвана Варжапетяна в «Литературном обозрении» иллюстрирована фотографией Тинякова, сделанной явно во второй половине 1920-х. Вполне себе человеческий облик, осмысленный взгляд. Даже борода подбрита на щеках. (Правда, Вардван Варткесович не объясняет, где он ее разыскал, а больше ни в каких изданиях эта фотография не фигурирует; может, и не Тиняков это вовсе.)

Кстати, в повести Варжапетяна, одного из самых громких борцов с антисемитизмом в 1980–1990-е, есть неожиданный пассаж:

Не оправдывая тиняковские гнусности, «тиняковщину», замечу, что не будь их, Александр Иванович стал бы совсем иным человеком – чистеньким, приличным, трезвым, пахнущим одеколоном... и совершенно мне неинтересным. А истинный Тиняков мне с каждым днем роднее; пусть у него нет, как у великих, своего пространства в русской поэзии, но угол-то свой есть.

Угол действительно есть, и ощущение родства с ним заметно у многих, кто о нем писал. Даже если писал с отвращением и брезгливостью.

* * *

Демарш Тинякова был воспринят ленинградским литературным сообществом как оскорбление звания литератора. Из-за этого поступка он стал олицетворением падшего поэта, примером опустившегося на самое дно пусть не талантливого, но все-таки творческого человека, «человека книги», как сказал о нем Бенедикт Сарнов.

Интересно, что этот тиняковский жест вскоре повторил в Москве другой поэт, правда намного более известный, – тоже вышел с протянутой рукой...

Привожу отрывок из воспоминаний Ивана Гронского, главного редактора «Известий», сотрудника «Нового мира»^[35]:

В 1932 г. мне сообщают, что Н.А.Клюев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню: «Подайте, Христа ради,

русскому поэту Николаю Клюеву», – и иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги.

Я вызвал Н.А.Клюева к себе в «Известия».

<...> Входит среднего роста человек. Одет бедно. Пиджачок потертый, рубашка, подпоясанная ремешком, штаны потертые, сапоги русские. Бородка. В руках картуз. Глаза – узкие, умные, хитрые, пронизывающие. Стоит, сложив руки, около дверей. Дальше не двигается.

<...> С ним было приятно разговаривать, потому что это был энциклопедически образованный человек, прекрасно понимающий и знающий искусство.

Я говорю:

– Николай Алексеевич, почему Вы пошли на паперть?

– Есть нечего.

– У Вас в вашей келье иконы Рублёва есть?

– Есть.

– А оригинальная Библия XVII века есть?

– Есть.

– Так вот, если Вы продадите хоть одну вещь в музей, то два-три года можете прожить не нуждаясь. Значит, на паперть заставила идти Вас не нужда, а кое-что другое, этим другим является ненависть к большевикам. Вы с нами хотите бороться, мы бороться умеем и в борьбе беспощадны.

Похоже на историю с нищенством Тинякова? Похоже. Но про «падение» Тинякова регулярно вспоминают уже без малого столетие, а про Клюева с протянутой рукой – не очень-то (я лично узнал этот факт из книги «Клюев» Сергея Куняева^[36]).

Демонстративное нищенство было формой если не борьбы, то протеста, которую выбрали два поэта, вышедшие – в буквальном смысле вышедшие – из цивилизации русского крестьянства, где крайняя форма горя выражалась в том, чтоб пойти по миру.

Есть и третий пример.

Об этом случае я вычитал в биографии Сергея Есенина «Обещая встречу впереди», написанной Захаром Прилепиным. У него повествование, по-моему, несколько беллетризировано, поэтому обращаюсь к книге Сергея Кошечкина «Весенней гулкой ранью...»^[37]:

В один прекрасный день друзья пошли в «Бакинский рабочий»: Есенину причитался за стихи какой-то гонорар. Пришли к Чагину: так, мол, и так, распорядись... А тот упирается: нет, дескать, денег в кассе. «Ах, нет? Ну, ладно!» Друзья выходят на улицу, встают под окнами редакции. Есенин поет частушки, а Эрьзя, с есенинской шляпой в

руках, обходит собравшихся зевак, изображая сбор подаяния. Чагину ничего не оставалось делать, как позвать Есенина и выдать ему гонорар...

(Интересно, а если бы у редактора «Бакинского рабочего» Петра Чагина действительно не оказалось денег?..)

Кошечкин пишет, что об этом ему рассказывал Борис Полевой, автор книги о скульпторе Степане Эрзе (тоже, кстати, из крестьян), и ученица Эрзи Елена Мроз.

Попрошайничая, Тиняков заодно продавал свои книги, носил их по пивным. Читал новые стихи. Сегодня известны четыре из них, написанных после 1924 года, остальные же или пока не разысканы, или погибли (по словам самого Тинякова, он писал в годы своего нищенствования регулярно).

Строфу из одного стихотворения, сохранившегося в альбоме Евгения Сокола («Не нужны ни солнце, ни птицы...»), я уже приводил, о втором речь во второй части, два других находятся в уголовном деле поэта, являясь, как и дневник, вещественными доказательствами вины. Потому, видимо, и уцелели.

Одно датировано 1926 годом:

Чичерин	растерян	и	Сталин	печален,
Осталась	от	партии	кучка	развалин.
Стеклова	убрали,		Зиновьев	похерен,
И	Троцкий,	мерзавец,	молчит,	лицемерен.
И	Крупская	смотрит,	нахохлившись,	чортом,
И	заняты	все	комсомолки	абортом.
И	Ленин	недвижно	лежит в	мавзолее,
И	чувствует	Рыков	веревку на	шее.

Второе, под названием «Размышления у Инженерного Замка», - 21 июля 1927-го:

Печальны		осенние		стоны,
Нахмурился,		ёжится		замок.
И	каркают		хрипло	вороны,
Быть	может,	потомки	тех	самых,

Которые		мартовской		ночью
Кричали	в	тревоге	не	зря,
Когда	растерзали		на	клочья
Преступники		тело		Царя.

И	мудрый,	и	грустный,	и	грозный
---	---------	---	-----------	---	---------

Закрылся		безвременно		взор	—
И	пал	на	Россию		несносный,
Мучительно		жгучий			позор.
Не	так	же	ли	грязные	руки
Взмятежили			тихий		канал,
Когда	на	нем,	корчась	от	муки,
Израненный			Царь		умирал.
Не	та	же	ль	преступная	воля
В		Ипатьевском		Доме	вела
Зверье,		—	подпоив		алкоголем,
Терзать			малолетних		тела?
Желябов,	и	Зубов,	и	Ленин	—
Всё	тот	же		упырь-осьминог...	
По-своему		каждый			растленен,
По-своему		каждый			убог,
Но	сущность	у	каждого	та	же: —
У	князя		и		большевика,
У	каждого		тянется	к	краже,
К	убийству	да	к	буйству	рука.
А	к	делу?	К	работе?	Смотри-ка,
Взирай		в		изумлении	мир,
Как	строят		Калинин	и	Рыков
Из	русского		царства		сортир.
И	правильно,		мудро,	за	дело
Утонет	Русь		в	кале	своем,
Когда	не		смогли,	не	сумели
Прожить	с		светодавцем	—	Царем.

Конечно, не шедевры, но – почти одинокий голос несогласного. Ехидного и саркастического врага тех процессов, что происходили тогда в СССР. А ведь врагов, всех этих тайных монархистов, белогвардейцев, просто ненавидящих советскую власть, как оказалось позже (много позже!), было тогда в избытке. Но они молчали, а этот «потерявший человеческий облик» оставил документы. Много ли еще можно вспомнить подобных свидетельств времени? «Собачье сердце», например, «Послание евангелисту Демьяну...» (его почему-то упорно приписывают Есенину); «Мы живем, под собою не чуя

страны...», басни Федора Сологуба, клюевская «Погорельщина». Вот вроде бы и всё из середины двадцатых – начала тридцатых. Потом наступило новое время, от которого тоже почти не осталось художественных документов, где бы запечатлелось недовольство коллективизацией, массовыми репрессиями, охотой на космополитов. Может, повесть «Софья Петровна» Лидии Чуковской – чуть ли не единственный такой документ о «большом терроре».

* * *

Уголовное дело Тинякова тонкое. Около ста листов, почти половина которых – фрагменты дневника. Малый объем не удивляет: арестованный признавался, причем делал это, кажется, не без удовольствия, хотя во время обыска пытался ерепениться: «...посылал сотрудников ОГПУ к „чорту“, обзывал хулиганами».

Из протокола допроса от 27 августа 1930 года:

Очутившись в 1926 г. без всякой работы, я ничего не мог придумать, как просить милостыню, повесил на грудь плакат с надписью: «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету!» и сел с ним на улице. Так как эта надпись вызвала различные вопросы и пересуды и могла вызвать репрессии со стороны милиции, то уже в 1927 г. я плакат этот снял <...>. Основными мотивами, доведшими меня до панели, я считаю требования современной Советской печати, которые беспартийным и мало начитанным в марксистской литературе человеком выполнены быть не могут; а именно: освещать вопросы текущего момента я не могу, а нейтральные статьи на чисто литературные темы мало интересуют руководителей современных изданий. Кроме того, не скрою и своего идейного расхождения с Советской общественностью настоящего момента.

Из протокола от 31 августа:

В своих разговорах, которые я вел в пивных и у своих знакомых, я иногда высказывал недовольство существующим строем и его политикой.

Из протокола от 8 сентября:

...белогвардейцев ненавижу не менее, чем большевиков...;
...мечтаю о патриархальном режиме далекого прошлого, о временах Ивана III-го и Дмитрия Донского. Там мои идеалы, мой «золотой век».

Из протокола от 17 сентября:

Не имея никакого желания вести какую бы то ни было активную работу или агитацию, направленную против Советской власти, я, однако, должен сказать, что не исключена возможность того, что в будущем я никогда не буду делиться своими монархическими мыслями с теми людьми, с которыми меня столкнет судьба.

(Александр Иванович будто намекает огэпэушникам: изолируйте меня или вовсе устранили.)

В деле много заявлений жильцов квартиры о том, что Тиняков и его жена часто пили и скандалили, что приводили домой сомнительных типов, что он часто обзывал соседей еврейской национальности жидами.

Есть свидетельства тех, кто видел, как подозреваемый занимается нищенством. «Тинякова я видел неоднократно просящим милостыню со словами: „Подайте бедному обездоленному писателю, обиженному советской властью“». Некоторые вспоминают, что пьяный Тиняков хватал людей и требовал денег. А о трезвом отзываются как о «смирном, тихом и интеллигентном человеке».

Выписка из протокола заседания тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 11.11.1930:

Постановили: Тинякова Александра Ивановича заключить в концлагерь сроком на ТРИ /3/ года, считая срок с 27.8.30 г.

Из обвинительного заключения:

Сочиняет контрреволюционные стихи и распространяет их за плату.

ТИНЯКОВ А.И. вел антисоветскую агитацию на улице, в пивных и в среде своих знакомых. Особенной активности она достигла в 1926 г., когда он наблюдая наши достижения и успехи в области социалистического строительства понял, что его надежды на реставрацию в стране монархического образа правления рушатся. Это свое возмущение и злобу на существующий строй ТИНЯКОВ выразил демонстративным выходом на улицу с плакатом: «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету», – при этом ТИНЯКОВ на словах прибавлял: «и обиженному Соввластью».

Так что здесь огэпэушники ближе к истинному смыслу выхода Александра Ивановича с протянутой рукой, чем его собраты по писательскому цеху и поверившие им литературоведы нашего времени. Вещественными доказательствами были признаны два стихотворения, дневник за 1929–1930 годы и «2 книги его печатных произведений „Аз есть (так! – *Р.С.*) сущий“ и „Треугольник“». Остальное изъято при аресте: «42 тетради с рукописями и выписками из книг; разные выписки; печатные книги. Сочинения Тинякова и дневники 5 шт.» постановлялось конфисковать. Скорее всего, позже большая их часть была уничтожена.

Но не всё. Например, в описи тиняковского фонда (а это в основном письма к нему известных литераторов) в Российской национальной библиотеке указано, что он поступил как раз в 1930 году. Видимо, после конфискации. Не так давно обнаружился автограф его неизвестного стихотворения. Впрочем, об этом ниже.

* * *

О жизни Тинякова в «концлагере» и в ссылке ничего не известно, кроме саркастической, а может, и вполне искренней фразы из письма Михаилу Зощенко, которое я приведу во второй части книги. Где был тот «концлагерь», достоверно не установлено. То ли одно из отделений Соловков, то ли, что маловероятно, Беломорско-Балтийский канал.

В статье «Хождение за Тиняковым», опубликованной 10 ноября 2016 года в газете «НГ Exlibris», Вардван Варжапетян приводит воспоминания племянницы Тинякова, известного литературоведа Ксении Дмитриевны Муратовой (1904–1998), записанные им в конце восьмидесятых:

...Я видела его и девочкой лет шести-семи, и девушкой, когда приехала учиться в Ленинград. Однажды кто-то из наших земляков сказал: «Шурка-то Богородицкий <...> на Литейном стоит с шапкой» <...>. Мы с сестрой написали маме: «Может ли такое быть?» Мама ответила: «Может; а вы подойдите к нему, скажите, что вы Муратовы».

Мы пошли. А он пьяный, ругается <...>. Мы тоже подали и убежали. Потом говорили: «Тинякова как нищего, пьяницу и вредный элемент определили строить Беломорско-Балтийский канал». Он вроде и там сгодился как поэт, писал в газету, которую чекисты издавали для заключенных. Максим Горький в августе 1933-го снарядил туда целый пароход писателей. <...> Книгу писать. Думаю, Алексей Максимович говорил с чекистами о Тинякове, помог ему вернуться в Ленинград. Горький ведь считал, что Тиняков мог вырасти в большого прозаика, хвалил его рассказ «Пропавший».

Ну, с Горьким Александр Иванович не мог лично встретиться ни на Соловках, ни на Беломорканале: в 1929-м, когда Горький посетил Соловки, Тиняков был на свободе, а на ББК Алексей Максимович не ездил вовсе. Писательская делегация побывала на канале в августе 1933 года, когда Тиняков уже вернулся в Ленинград.

Жить ему оставалось ровно год.

Известно, что на пропитание зарабатывал продажей в Пушкинский Дом, Гослитмузей, Государственную публичную библиотеку редких книг, рукописей писателей XIX века, которые приобретал еще до революции.

В некоторых современных статьях о Тинякове встречается утверждение, что продавал он и листы, вырванные из книг с инскриптами известных литераторов. Но недавно в статье А.Г.Тимофеева «Материалы М.А.Кузмина в рукописном отделе Пушкинского Дома (Некоторые дополнения)»^[38] я наткнулся: «Среди отдельных поступлений 1935 г. имеется титульный лист несохранившегося экземпляра книги Кузмина „Покойница в доме. Сказки. Четвертая книга рассказов“ (СПб.: Издание М.И.Семенова, 1914) с авторским инскриптом: „Дорогому Александру Ивановичу Тинякову с искренней дружбой к поэту и человеку М.Кузмин“. Эта единица хранения поступила в архив вскоре после смерти поэта и критика А.И.Тинякова (1886–1934)...»

Так что вырывать листы могла вдова, или соседи, или, да пусть простят меня их потомки, сотрудники Пушкинского Дома. Ну или сам Тиняков вырвал, но отнести не успел – умер.

О Тинякове этого последнего и короткого периода его жизни современники почти не оставили свидетельств. Впрочем, как мне говорили архивные работники и в Петербурге, и в Москве, бумаги 1930-х еще только разбираются, поэтому появление новых фактов не исключено. Вот те крохи, что известны сегодня: «...Прошелся по Невскому. Встретил Тинякова на костылях и Хармса...» (из записи в дневнике Михаила Кузмина от 28 июня 1934 года).

Интересно, порознь встретил или вместе? Известно, что Хармс очень интересовался Тиняковым, был с ним знаком, к тому же они жили рядом – Тиняков на улице Жуковского, а Хармс на Надеждинской (нынешней Маяковского).

А вот из воспоминаний Николая Александровича Энгельгардта «Эпизоды моей жизни»^[39]:

Я пишу эти строки в июле 1934 года, 67-летним стариком. Каждый день, под вечер, идя из улицы Чехова (облагороженный Эртелев переулок) по Надеждинской в булочную на Невском (Проспект 25-го Октября) за полкило хлеба (1 р. 25 коп.), я встречаю медленнодвигающуюся посреди тротуара, опираясь на палочки выставленными

вперед двумя руками, высокую фигуру в широкополой серой, мятой, старой фетровой шляпе и в светло-коричневой плисовой поношенной бекеше, с длинными седыми волосами и бородой, с воспаленным лицом – и все же сохраняющую оттенок старого интеллигента. Это – писатель Тиняков.

Такие сочувственные строки написал не кто иной, как тесть Николая Гумилева, в аресте и гибели которого периодически обвиняли и обвиняют Тинякова. (Умрет Энгельгардт, как и его жена, и дочь, и внучка, в 1942 году в блокадном Ленинграде.)

Впрочем, стоит продолжить цитату из «Эпизодов...»

Когда-то это был в самом деле писатель, принятый в литературных кругах.

Но с некоторых пор честному труду он предпочел философическое безделье и стал тунеядцем, живущим милостыней. Видят его заседающим в портерных перед кружкой пива. Но ведь это напиток слабый. Ему нужна водка, а хорошая, очищенная, стоит 5 р. 50 к. пол-литра. Очевидно, ему довольно подают. И так человек живет.

Тунеядец, живущий милостыней, которую пропивает... Наверное, справедливо. При этом отмечу, что периодически в воспоминаниях и свидетельствах возникает (и будет возникать) по отношению к Тинякову определение «интеллигент». Ходасевич, соседи по коммуналке, Энгельгардт...

* * *

В давней уже, написанной до того, как многое про последние годы героя моей книги стало проясняться, статье «Некто Тиняков. Одинокий...» орловский литератор Владимир Ермаков осторожно фантазировал:

Вот вам версия, лишенная всякой доказательности, но заманчивая назидательной моралью. С началом террора Тиняков в депрессивном психозе, гонимый собственной тенью, исчезает из бывшей столицы. Теперь он жаждет безвестности так же страстно, как прежде славы. Бежать, скрыться! Куда? Инстинкт блудного сына ведет на родину. Здесь, в орловских улицах, доживает он свои никчемные дни, сколько бы их там ни было. Это уж совсем нам неважно. Никто его не узнаёт, никто его не хочет узнавать, да и не может узнать. Потому что и сам он уже не Некто, а Никто. Карикатурный призрак декаданса, пародия на «проклятого поэта». Умолкнувший неприличный звук. Бесплотный. Бездушный. Одинокий. Все – без следа. Вот только разве... неясная тоска. «Стоит в груди – и не тает...»^[40]

Подобное писали и о Есенине, Клюеве, Клычкове: зачем, дескать, оставались в этих каменных мешках городов, вернулись бы на родину, к земле... Нет, прикипевшие к городам крестьяне очень редко из них вырывались, хотя и мучились, но в этой муке, видимо, черпали вдохновение.

А у нас-то в деревне теперь – благодать. Сидел бы в валенках, читал бы Писемского и Мельникова-Печерского, пил бы умеренно водку, беседовал бы с немудреными деревенскими людьми, и не висел бы надо мной грозный и грязный вопрос: «А что я буду завтра жрать?» И к чему, и зачем я страдаю в Петрограде, – самому непонятно. Раньше, положим, был интерес к литературе и писателям, а это скрашивало ужас моей бедности. Но бедность перевесила, все почти убила, все опорочила – и теперь я – только голодный, —

жаловался Александр Иванович Борису Садовскому в 1914 году.

Петербург-Петроград-Ленинград раз за разом исторгал Тинякова, а Тиняков раз за разом возвращался.

Вардван Варжапетян в конце 1980-х установил, что умер Александр Иванович 17 августа 1934-го, в сорок семь лет, в ленинградской Больнице в память жертв революции (Мариинской), которая в трех сотнях метров от его дома. (Сам дом № 3 по улице Жуковского, где жил Тиняков, был сильно поврежден немецкой бомбой во время войны и перестроен.) В день его смерти в Москве открылся Первый съезд советских писателей.

...В уголовном деле героя моей книги последний лист отличается по цвету от других – он не серый и не желтый, а белый. Это справка о реабилитации от 18 марта 1998 года. В ней приписка: «Сведений о родственниках Тинякова А.И. не имеется».

– Извините, – решился побеспокоить я сотрудницу ФСБ, которая наблюдала за мной в кабинете, чтоб, наверное, не украл документы, не развернул сложенные листы, содержащие секретную информацию. – Извините, а если родственников нет, то кто подавал просьбу о реабилитации?

Вопрос, конечно, наивный, но я не специалист в этих вопросах.

Девушка взглянула на справку:

– Он был осужден тройкой. Таких автоматически реабилитировали. В соответствии с указом.

– А, да-да, – кивнул я, делая вид, что вспомнил; записал в блокнотик: «Автоматически реабилитированный».

Не знаю, согласился бы с этим «крайне своеобразный человек», по собственной оценке, Александр Иванович Тиняков.

Часть вторая

Персонаж

Биография завершена. Но сказать еще есть о чем. О посмертной судьбе Тинякова и написанного им.

Время от времени я изучаю интернет в поисках чего-нибудь нового, свежего об Александре Ивановиче – замечательно, что даже сугубо научные работы можно в интернете найти.

На этот раз обнаружил по-настоящему важное (по крайней мере для себя). На сайте аукциона «Буквы и картинки» прочитал:

лот 36

Тиняков А.И. Рукопись неопубликованного стихотворения Александра Тинякова «Житьишко (из дневника поэта)». 1920-е гг. Размер – 22,3×18,3 см.

И ниже фотокопия самого стихотворения:

Житьишко

(Из дневника поэта)

Просыпаюсь,	а	в	комнате	–	холод:
От	дыхания	пар,	словно		дым!
Но	здоров	я,	свободен	и	молод
И	останусь		навек		молодым.

Я	вчера	пообедал	без	хлеба,
На	сегодня	есть	только	фасоль,
Но	прозрачность	лазурного		неба
Прогоняет		житейскую		боль.

Дни	разрухи	лишили	нас	булок,
Гонораров,		штиблет,	серебра,	—
Но	блестит	в	серебре	переулок,
В	сердце	–	розы	любви
				и
				добра.

И	без	зависти,	грусти	и	злости,
Не	позоря		проклятьями		рот,
Я,	танцуя,	бегу	чрез		сугробы
И	поет	мое	сердце,		поет!

Снова про отсутствие еды, про холод и одиночество, и в то же время какая, кажется, искренняя жизнерадостность, какая бодрость. «Но здоров я, свободен и молод / И останусь навек молодым».

Почерк явно тиняковский, лист из всё тех же школьных тетрадок... Когда было оно написано, откуда всплыло вдруг?..

На сайте сообщение: «Продано за 40 000 рублей».

Но, как правило, вываливаются компиляционные, почти дублирующие друг друга статьи о жизни Тинякова. И всё одно и то же: «Поэт-попрошайка», «Слава любой ценой, или Поэт, пробивший дно», «Маленький человек на Литейном», «Забытый поэт»...

Да какой он забытый! Один из самых популярных среди своих современников. Если и не стихами, то биографией. По крайней мере, о Пясте, Нарбуте, Ауслендере, том же Городецком вспоминают не чаще... Тиняков еще при жизни не раз становился героем (вернее, антигероем) литературных произведений. Иванов, Ходасевич, Ремизов во «Взвихренной Руси», по всей вероятности, Хармс, Вагинов... Новый всплеск произошел уже в наше время во многом благодаря изданию книги его стихотворений в 1998-м.

Не побоюсь показаться нескромным, но начну эту часть со своих текстов и с того, почему я вообще заинтересовался Тиняковым.

* * *

В родительской библиотеке было восьмитомное (плюс том «Записные книжки») собрание сочинений Александра Блока 1960-х годов. (Позже узнал, что это издание очень ругали специалисты, что составитель Владимир Орлов включил в собрание далеко не все, написанное Блоком, а некоторые его произведения *отредактировал*. Но все равно эти девять синих томов стали для поколения моих родителей, и моего тоже, настоящим открытием Серебряного века. Единицы могли посещать спецхраны, до единиц доходил тамиздат, а тут – сто двадцать тысяч экземпляров.)

Подростком я любил листать собрания сочинений, причем привлекали меня в основном не сами сочинения, а примечания, комментарии, указатели имен. И в блоковском собрании я натолкнулся на «*Тиняков Александр Иванович (1886-?), поэт, журналист (псевдоним: Одинокий)*».

До сих пор, когда встречаю сведения о людях, чей год рождения или смерти неизвестен, во мне просыпается желание начать расследование и этот год установить. А лет в четырнадцать-пятнадцать я тратил на эти поиски – с помощью библиотеки домашней и центральной в нашем тогда маленьком Кызыле – многие недели. Конечно, ничего не получалось, но процесс был увлекательным.

В случае с Тиняковым я тоже потерпел неудачу, хотя все же кое-что о нем узнал. Главным образом из книги Михаила Зощенко «Повесть о

разуме». Почти в начале ее наткнулся на рассказ о поэте А.Т-ве (затем просто Т.), который стал нищим.

Не помню, сопоставил ли я в тот момент блоковского Тинякова с зощенковским Т-вым, так как почти сразу обнаружил их обоих (и Тинякова и Т.) в очерке «Зощенко» Корнея Чуковского в одном лице. Описание этого опустившегося человека было столь ярким, что я решил: умер он в те годы, о которых писали Зощенко и Чуковский, – примерно в середине 1920-х, и наверняка где-нибудь под пресловутым забором. Ну и успокоился.

Позже встречал короткие упоминания и ссылки на Тинякова в разных литературоведческих книгах. Например, в сборнике статей Юрия Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино» (кстати, эта книга, правда не из нашей кызылской библиотеки, но того же 1977 года издания и сейчас у меня на стеллаже).

До сих пор живет во мне то сложное чувство радостного удивления и зависти: мне лет шестнадцать, я читаю статью «Литературное сегодня» Тынянова, где так интересно про роман Замятина «Мы», про Пильняка («Мы» и книги Пильняка станут доступны мне лет пять спустя, в начале девяностых); в статье много-много крошечных цифр и чисел, они указывают на то, что к такому-то слову или такой-то фразе в конце книги есть комментарий.

И вот дочитываю:

Литература идет многими путями одновременно – и одновременно завязываются многие узлы. Она не поезд, который приходит на место назначения. Критик же – не начальник станции. Много заказов было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а она откроет Америку.

И число.

Что тут-то можно комментировать? Я уже знал, что это вполне расхожий образ: плыли в Индию, а приплыли в Америку... Открыл комментарии и прочитал:

Ср.: «Колумб, думая попасть в Индию, открыл Америку. Нечто совершенно обратное случается с читателями Уитмэна. Раскрывая книгу его стихов, мы думаем открыть Америку, а попадаем в Индию» (А.Тиняков. Индия в Америке. – «Петроград». Литературный альманах, I. Пг.—М., 1923, стр. 217; рецензию Тынянова на этот альманах см. в наст. изд.).

Обрадовался я тому, что вот еще крупца в мою тиняковскую копилку, а зависть возникла такого рода: как повезло Тынянову с

исследователями, другие бы не заметили, а эти... Сейчас посмотрел – издание того тома подготовили Е.А.Тоддес, А.П.Чудаков, М.О.Чудакова. Первая фамилия мне ни о чем не говорит, а с Александром Павловичем и Мариэттой Омаровной я был хорошо знаком.

Потом началась перестройка, появились книги Георгия Иванова, Владислава Ходасевича, в 1992 году в очень популярном тогда журнале «Литературное обозрение» была опубликована повесть в документах Вардвана Варжапетяна «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи»...

В 1996 году я поступил в Литературный институт, а в 1998-м в книжной лавке при институте купил сборник стихов Александра Тинякова, собранный Николаем Богомоловым, с его увлекательным предисловием и тщательными комментариями.

Большинство стихов были прочитаны тогда раз и сразу отброшены сознанием в мусорную корзину памяти, а некоторые буквально в память врезались, сами собой заучились наизусть.

Как раз в то время я писал рассказ «Афинские ночи» – о том, как трое приятелей, несостоявшихся художников, едут из Москвы в Можайск, чтобы гульнуть там, *оторваться по полной*. И один из персонажей, Борис, время от времени иллюстрирует происходящее или разговоры, споры строками из Тинякова / Одинокого.

– Я вообще-то стихи не люблю как таковые – поэзия давно уже крикнула, одни ошметки остались. Но у Одинокого штук пятнадцать стихов – супер просто! Вот, например:

Я понимаю мир как Благо.

Я ощущаю мир как Зло.

И Борис значительно замолчал, поджав губы.

– А дальше? – спрашиваю.

– Что – дальше?

– Ну, дальше какие строки?

– А этих мало?..

Рассказ вышел в журнале «Знамя» в 2000-м. На него отозвалась Ирина Бенционовна Роднянская, в своей статье «Гамбургский ежик в тумане» назвавшая Тинякова «талантливым циником».

В 2004 году я вставил две строфы из тиняковского стихотворения «Номо Sapiens» в рассказ «Репетиции». Герой рассказа готовится к поступлению в одно из московских театральных училищ и выбирает

стихотворение, которое прочтет на экзаменах. Пробует и не решается. А так как герой из Красноярского края, то нашел он «Homo Sapiens» в изданной в Красноярске в 2001 году книжке стихотворений Тинякова в серии «Поэты свинцового века».

В том же 2004-м я упомянул его в повести «Вперед и вверх на севших батарейках» в сцене спора в общежитии Литературного института. Один студент – щедедушный паренек в очках – славит Бродского, другой – крепыш по имени Миша – Рубцова, третий – Саша Фомин – Бориса Рыжего, а главный герой (повесть написана от первого лица) заявляет:

– А мне простая поэзия нравится. Искренняя и простая.

Щедедушный переводит свои линзы с Миши на меня:

– Это кто же простой?

– Да кто... Тиняков, например. Не весь, но лучшие вещи – простые у него и, можно сказать, гениальные.

Щедедушный с минуту глядит на меня как на дурака, а потом объявляет:

– Я не знаю такого. – В его голосе приговор мне: что я неудачно выбрал пример, а потому не имею больше права ввязываться в разговор.

На эту сценку довольно бурно отреагировал покойный Сергей Павлович Костырко:

Отвратны в повести почти все из литературного окружения героя. Но особенно карикатурными кажутся повествователю все эти интеллигенты-либералы, что носятся со своим Бродским. Мне, говорит герой, милее Тиняков, он «искренен, прост, а иногда почти гениален». Нет, может, правда милее, только вот чего жеманиться-то, чего о поэтическом даре говорить – в истории русской литературы Тиняков остался не из-за своих вполне посредственных стихов, а как зоологический антисемит и клинический мизантроп. <...> Хотел автор или нет, но противостояние его с окружающей «творческой средой» в основном соответствует вот этому противостоянию с «либерал-интеллигентами». Эффект – не думаю, чтобы автор рассчитывал именно на него, – забавный: именно то, что приписывается русской интеллигенции как самое отвратное в ней – уверенность в своем избранничестве, дающем право на учительство, и проч., – вот все это почти персонифицировано, пусть и наыворот, в самом герое. Он жесток по отношению к себе^[41].

После повести «Вперед и вверх...» Тиняков из моих прозаических вещей надолго пропал, зато появлялся в рецензиях и статьях.

В журнале «Нижний Новгород» (2019, № 4) вышел мой очерк о Тинякове «Автоматически реабилитированный», ставший основой для этой книги. Рассказ «Дедушка» я уже упоминал.

Перечисляю всё это не из тщеславия, а затем, видимо, чтоб показать: к столь объемной вещи, как эта книга, я шел долго и, получается, целенаправленно. Иногда обстоятельства вели, иногда словно бы некая сила. Хм...

* * *

В «Дедушке» я заставляю Александра Ивановича вспомнить на больничной койке строки из письма к нему Льва Толстого (которые, напомню, сам и придумал):

Толстой болел тогда, мы с ним посредством записок общались. Через дочку... Он мне написал: «Возвращайтесь домой, помириться с родителями, дедушкой. И, пожалуйста, не становитесь современным поэтом. Современные поэты – люди ненормальные. Вы крестьянин, а крестьян в свете не любят. И в литературном кругу тоже. Будете на побегушках у дворянских фуражек, смеяться над вами будут и погубят». Так и вышло.

Но про *дворянские фуражки*, про *современных* (Толстому) *поэтов*, про *побегушки* я не сочинил, а взял из разных публицистических произведений Льва Николаевича.

И здесь хочется обратиться к выстроенным самой жизнью сюжетам, где одним из персонажей был Тиняков.

Я вернусь назад, в дореволюционное и революционное время, кое-где пройду по второму кругу, может быть, взгляну на уже описанное событие под несколько иным углом. Читая современные биографии, я вижу, что многие авторы так делают. Также захотелось попробовать. Итак.

Немного позже тиняковской истории вспыхнул другой скандал, и остракизму подвергся еще один поэт из крестьян – Сергей Есенин. Вот как об этом много позже вспоминал Георгий Иванов:

Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: «Наш» Есенин, «душка-Есенин», «прелестный мальчик» Есенин представился Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а неопровержимый факт. Бросились к Есенину за

объяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. <...>

Книга Есенина «Голубень» вышла уже после Февральской революции. Посвящение государыне Есенин успел снять. <...>

Не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно^[42].

Позже человек, явно расположенный к Есенину, его соратник по сборникам «Скифы» Иванов-Разумник записал рассказ самого Сергея Александровича:

До Могилёва (куда Есенин был командирован как санитар Полевого Царскосельского военно-санитарного поезда № 143. – *Р.С.*) я так и не добрался. В пути меня застала революция. Возвращаться в Петербург я побоялся. В Невке меня, как Распутина, не утопили бы, но под горячую руку, да на радостях, расквасить мне физиономию любители нашлись бы. Пришлось сигнуть в кусты: я уехал в Константиново... Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось, слава Богу, благополучно^[43].

Есенин стал сотрудничать с эсерами – «...работал с эсерами не как партийный, а как поэт», – вскоре перешел к большевикам.

А что Тиняков? Месяцы после свержения Николая Второго и до Октябрьской революции никак не отражены в его биографии. Единственное свидетельство я нашел опять же у Георгия Иванова в очерке «Человек в рединготе»:

Он сидел на Мальцевском рынке среди старух с серебряными ложками и мальчишек с пирожками. Он сидел в своем рединготе и цилиндре и торговал книгами.

Вернее, безучастно смотрел, как любопытные перебирают его никому не нужный товар и уходят, ничего не купив. Шарф был туго замотан вокруг его короткой шеи, и в стоячих глазах светилась ледяная тоска. Это было при Керенском. Судя по всему, звезда «человека в рединготе» клонилась к закату...^[44]

Впрочем, Иванов вполне мог это выдумать – надо ведь было как-нибудь эффектно закончить очерк...

Но, как мы знаем, и Тиняков быстро принял революцию и оказался в стане большевиков. Как и абсолютное большинство литераторов, порожденных крестьянской средой.

* * *

Я недаром вспомнил о Сергее Есенине. Есть в его судьбе и в судьбе героя моей книги интересные и, по-моему, закономерные пересечения. Есть и важные, наверное, коренные различия.

Но сначала попробую поговорить о поэтах-крестьянах в русской литературе до 1920-х годов.

Произведения первых крестьян и выходцев из крестьянской среды можно отыскать (именно отыскать) в журналах еще с конца XVIII века. Стихи Ивана Варакина в «Зрителе» и «Улье», Федора Слепушкина в «Отечественных записках», Михаила Суханова в «Сыне Отечества», «Русском инвалиде», «Отечественных записках», Егора Алипанова в тех же «Отечественных записках»... Выходили у них и книги, которые иногда становились популярными. Но это были исключения, единичные случаи в море публикаций и изданий произведений, написанных, как правило, дворянами.

Бытует мнение, что первым значительным поэтом-крестьянином стал Алексей Кольцов – нет, он был из семьи довольно богатых купцов. О крестьянах и от лица крестьян и во времена Пушкина, и позже писали в основном дворяне и так называемые разночинцы.

Во второй половине XIX века крестьяне заговорили устами Ивана Сурикова, Саввы Дерунова, Ивана Родионова, Алексея Разорёнова, Спиридона Дрожжина, десятков их последователей. Да, голосов становилось всё больше, а литература продолжала оставаться, как бы мы сейчас определили, *нишевой*.

И из членов образованного в 1902 году Суриковского кружка в Москве в большую литературу никто не вышел (да и, скорее всего, не хотел выходить, предпочитая быть звездами не «Мира Божьего», «Весов», «Скорпиона», а «Простого слова», «Рожка», «Проталинки»).

Многие будущие новокрестьянские поэты в разное время соприкасались с суриковцами, но быстро от них отстранялись. Сергей Есенин написал заявление о приеме в Суриковский кружок (правда, подлинность заявления вызывает вопросы – оригинала, кажется, нет), а сам поехал покорять Петербург...

Первым поэтом из крестьян, ставшим по-настоящему известным, оказавшимся интересным для литературного мира, стоит считать Николая Клюева. Человека не только талантливого и со своей правдой,

но и образованного, вносившего в свои вроде бы крестьянские, почвеннические стихотворения элементы модернизма.

Клюевские письма, воспоминания о нем современников рисуют нам портрет достаточно комический. Утрированная простонародность, вычурная письменная и устная речь. Но появление Клюева в литературном мире Петербурга можно назвать явлением. Впечатление он и его проповеди произвели на многих писателей того времени огромное. Особенно сильно под клюевское влияние подпал Александр Блок (он вообще часто впечатлялся: например, незадолго до Клюева считал пророком Леонида Андреева). Но следовать проповедям Клюева Блок не стал. Записал 6 декабря 1911 года в дневнике: «Я над Клюевским письмом. *Знаю всё, что надо делать*: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу».

В 1916 году Клюев добрался до Царского Села, в планах у него было заменить собой Григория Распутина, донести до императорской семьи *свои* идеи, *свою* правду; с собой Клюев тянул и Есенина.

Владислав Ходасевич в очерке «Есенин» словно бы отвечает Георгию Иванову, что толкнуло Сергея Александровича проявлять «монархические чувства»:

...Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. <...> Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь, – а вполне последовательно держался клюевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет Россию; ждал, что из этого пламени фениксом, жар-птицею взлетит мужицкая Русь. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых – в рядах левых там, где «крайнее», с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь^[45].

Да, у крестьянских (новокрестьянских) поэтов были грандиозные планы. Как сказали бы мы сегодня, они хотели стать новой культурной элитой. Искали своих и среди прозаиков, певцов, скульпторов, живописцев... До поры до времени тогдашняя элита воспринимала и принимала их чуть ли не с восторгом и даже некоторым поклонением. Но если Блок находил удовольствие, искал смыслы в беседах с Клюевым и Есениным, просто старался помогать им с публикациями стихов, то

Городецкий решил сделать из них настоящих литературных (а скорее эстрадных) звезд. (О первых, костюмированных, выступлениях Есенина, руководимого *режиссером* Городецким в Петрограде, написано предостаточно, поэтому не буду множить воспоминания и свидетельства.) Но он же вскоре, когда те же Клюев и Есенин обрели силу, стал для них главным врагом. Они ему участие в его «игре» (по определению Есенина) не простили.

Было и другое, прямо противоположное Городецкому, отношение к новокрестьянским. Резче всего оно выразилось, по-моему, в письме Ходасевича Ширяевцу, написанном в декабре 1916-го:

Мне не совсем по душе весь основной лад Ваших стихов, – как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихи «писателей из народа». Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах *самого народа*, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., – утрачивают они главное свое достоинство – примитивизм. Не обижайтесь – но ведь *все-таки* это уже «стилизация».

И в Ваших стихах, и у других, упомянутых мной поэтов, – песня народная как-то подчищена, выхолощена. Всё в ней новенькое, с иголочки, всё пестро и цветисто, как на картинках Билибина^[46].

Клюев в свою очередь так отзывался о Ходасевиче:

Проходу не стало от Ходасевичей, от их фырканья и просвещенной критики на такую туземную и некультурную поэзию, как моя «Мать-Суббота». Бумажным дятлам не клевать моей пшеницы. Их носы приспособлены для того, чтобы тукать по мертвому сухостю так называемой культурной поэзии. Личинки и черви им пища и клад. Пусть торжествуют!^[47]

Да и к Блоку поэты «крестьянской купницы» (снова из Есенина) испытывали, скажем так, далеко не одно благоговение. Вот как отреагировал Сергей Александрович в письме от 24 июня 1917 года на жалобы того же Александра Ширяевца, что Блок его не принял:

...История с Блоком мне была передана Миролюбивым с большим возмущением, но ты должён был ее так не оставлять и душой своей не раскошелиться перед ними. Хватит ли у них места вместить нас? Ведь они одним хвостом подавятся, а ты все это делал.

В следующий раз мы тебя поучим наглядно, как быть с ними...^[48]

Письмо Есенина небольшое, но программное. Он явно чувствует силу этой самой «крестьянской купницы», очевидно уверен, что вот-вот она, их купница, сменит на Олимпе «питерских литераторов» (еще из Есенина)... Этого не случится. Вскоре Есенин уедет в Москву и там будет пытаться стать элитой в рядах имажинистов, вернее сделать имажинистов элитой. В том числе при помощи должностей и постов во Всероссийском союзе поэтов. Потом у Есенина будет Европа и США, возвращение к купнице, гибель в «Англетере»...

Ну и об отношении к Гиппиус.

Она написала первую, *хвалебную* рецензию на стихи Есенина:

В стихах Есенина пленяет какая-то «сказанность» слов, слитость звука и значения, которая дает ощущение простоты. Если мы больше и чаще с м о т р и м на слова (в книгах), чем с л ы ш и м их звуки, – мастерство стиха приходит после долгой работы; трудно освободиться от «лишних» слов. Тут же мастерство как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие^[49].

Есенин был ей вроде как благодарен, посещал ее салоны, оставил на «Радунце» такую надпись: «Доброй, но проборчивой Зинаиде Николаевне Гиппиус с низким поклоном». А в разговорах со своими, в письмах своим высказывался иначе: «Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!...», «Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мережковские, гиппиус и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, <...> я презирал их – и с деньгами, и с всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них...»^[50].

В апреле – мае 1925-го Есенин написал памфлет «Дама с лорнетом» (при его жизни не опубликованный) как ответ на статьи Мережковского и Гиппиус, где было немало нелицеприятного и о Есенине. В адрес Гиппиус: «...безмозглая и глупая дама», «контрреволюционная дрянь» и тому подобное. Схоже с тем, что писал о ней и герой моей книги. (Впрочем, в том же году и тоже весной Тиняков в «Отрывках...» отмечает: «...Зин. Н.Гиппиус, которую я и сейчас считаю самой замечательной и безусловно самой очаровательной личностью среди всех наших литераторов».)

О знакомстве Александра Ивановича Тинякова с Есениным, Ключевым, Клычковым, Орешиним неизвестно. Наверняка оказывались в одних

стенах, но вряд ли разговаривали. А вот знакомство Тинякова с Ширяевцем подтверждается письмами Ширяевца к самому Тинякову («Шлю привет из экзотической Бухарщины! В Питере Блоки, а здесь скорпионы, фаланги и проч. и проч.») и Виктору Миролюбову, редактору «Журнала для всех».

Вот из письма Миролюбову:

Сладко журчащий о России, о русском народе г. Блок, оказывается, не расположен заводить знакомства с писателями из народа. Не принял меня, а до меня не принял Сергея Клычкова (по рассказу А.Тинякова (так! – *Р.С.*)), который тщетно пытался познакомиться с ним. Один только Есенин попал к нему, да и то обманным путем (тоже по рассказу Тинякова). Честь и слава! Оно, конечно, не подобает потомку крестоносцев иметь дело с разным сбродом... Из-за этого поссорился я с Тиняковым, который защищал его и выразился так: «Если бы я был знаменит – тоже не принял бы»^[51].

Ссылки на Тинякова провоцируют на такое предположение... Не хочется лишних собак вешать на Александра Ивановича, это именно предположение.

Итак, на дворе 1915 год. Неудавшийся поэт-символист и сильно опоздавший декадент Александр Тиняков, отказавшийся от псевдонима Одинокый, видит, с каким почитанием относятся *питерские литераторы* к приходящему из народа и уходящему в народ, в дебри таинственного и жуткого Олонецкого края, Ключеву; он видит растущую популярность Клычкова, Орешина, того же Ширяевца. Вот вспыхнула звезда Есенина... Наверное, Тиняков завидует, раскаивается, что сам когда-то не воспользовался своим происхождением, постучался в литературу в городском костюме и со стихами под Брюсова и Бодлера. И, быть может, наговорил Блоку о Клычкове и Ширяевце, убедил, что не стоит ему с такими связываться...

* * *

Да, Александр Иванович оказался меж *питерскими литераторами и писателями из народа*. Уже в 1912-м он начал воспевать свои крестьянские корни (вспомним стихотворение «Мой прадед»), но долгая учеба декадентству не позволила быстро перестроиться на народное. Получалось слабо и в 1912, и в 1915-м.

Как относились к Тинякову *писатели из народа*, мы не знаем. Может быть, и никак. Посмотрим, кем был он для *питерских литераторов*.

По скупым, правда, записям в дневниках и записных книжках, по письмам, коротким и предельно лаконичным, за исключением ответа Тинякову на публикацию в «Земщине», который я уже приводил,

очевидно, что Александр Блок Тинякова уважал и ценил. Достаточно теплые отношения были у него с Алексеем Ремизовым и Зинаидой Гиппиус, хотя чувствуется в их письмах к Тинякову некоторая снисходительность, что ли, пусть и зачастую добрая, та, какую старшие испытывают к младшим.

«...Сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское», – через три десятилетия напишет о Тинякове 1900–1910-х в то время его приятель, а позже враг Владислав Ходасевич. У кого в более мягких выражениях, у кого в более сильных, это *плебейство* отмечают многие тиняковские знакомцы.

И с Блоком, и с Ремизовым, и с Гиппиус Тиняков, судя по всему, лично общался эпизодически. Вообще же он часто жаловался, что одинок. И, кажется, единственным, кто для общения был доступней других, оказался Борис Садовский.

Они часто встречались, регулярно обменивались письмами. Эти письма и являются главными свидетельствами положения Тинякова в литературном мире Петербурга/Петрограда 1912–1916 годов.

Но прежде цитат из писем приведу эпизод из «Петербургских зим» Георгия Иванова:

Среди окружавших Садовского забавной фигурой был также «бывший москвич» – поэт Тиняков-Одинокый. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах.

«Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами». – Тиняков приносил папиросы. – «Александр Иванович – пива!» – «Александр Иванович, где это Кант говорит то-то и то-то?» – Тиняков без запинки отвечал.

Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был смирен и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьян он был почти всегда, – он становился предприимчивым^[52].

Сохранившиеся фотографии Александра Ивановича показывают, что не такого уж страшного вида он был, «сюртук его имел самый обыкновенный буржуазный вид»; если и пил, то не хронически, а запоями; многочисленные рецензии доказывают, что он, в отличие от многих нынешних литературных журналистов, читал книги перед тем, как отзываться на них.

А теперь к письмам.

Тиняков Садовскому, 26 сентября 1914 года:

...Поистине, я обречен на собачье существование! Пропьешь какую-нибудь десятку, а после голодай. Но ведь не могу же я выносить все время ужасного одиночества комнаты: надо же человеку куда-нибудь пойти!

Садовский Тинякову, 29 сентября 1914 года:

Вы мне напоминаете человека, который стоя у горячей печи и наблюдая, как тлеет и понемногу занимается его платье, грустно говорит: «горю и гибну», но отойти от огня не хочет. О таких людях справедливо говорят: «туда тебе и дорога».

Сетования Ваши на судьбу мне решительно непонятны. Все зависит от нас самих. Судя по тому, как наладились Ваши отношения с отцом, Вы могли бы теперь жить на своем хуторе, хозяйничая, иметь ренту и заниматься в то же время собиранием книг и писательством. Вы же предпочитаете сиденье в похабных и грязных кабаках, голодовку с Манычами и ему подобной сволочью, о которой одна мысль вызывает во мне негодование. Видно, закваска доктора Валерия Смирнова (Вардван Варжапетян сделал здесь примечание: «водка-„смирновка“». – *Р.С.*) крепко въелась в Вас, и если я от нее освободился, то это потому что заражен был ею в 23 года от роду, вы же восприняли ее юношей 17-ти лет. <...>

Поймите же раз и навсегда, что присутствие бабье, будь хоть она царица, только портит жизнь, что жить можно лишь вполне одному. Какой же Вы после этого «Одинокый»?

Еще преподам Вам дружеский совет: пока Вы не будете прилично одеты и причесаны, пока не научитесь мыть лицо и руки и подтираться бумажкой, а не пальцем, до тех пор успеха у женщин иметь не будете и Ваши мечты о женитьбе останутся лишь мечтами. Для бабы главное – внешность. <...>

В Москве говорил о Вас с Ходасевичем, и оба мы дружно и много Вас ругали.

Такой свой портрет и такие советы Тинякову вряд ли были приятны, и он начал отвечать своему недавнему благодетелю не только в письмах, но и в печати.

Причиной их конфликта, впрочем, Николай Богомоллов считал «сближение Тинякова с четой Мережковских, которые, по всей видимости, предполагали обрести в нем если не полного сомышленника, то близкого по духу публициста, которого можно использовать в различных целях: доверять ему рецензировать (под строгим контролем) свои произведения, задавать темы для обсуждения, чтобы затем можно было в полемике реализовать собственные

устремления, обретать союзника в различных газетных и журнальных предприятиях».

В подтверждение своей мысли Богомоллов приводит отрывок из письма Тинякова Садовскому: «Мережковский прислал мне полное собрание своих сочинений и несколько очень лестных писем. По совести сказать, это – честь, еще не заслуженная мною, и, конечно, – счастье великое. Я буду писать о нем большую статью и, вероятно, прочту публичную лекцию (мысль о лекции пришла в голову не мне) <...>. Толстой, Достоевский и Мережковский – самые значительные русские писатели; даже Пушкин – при всем его художественном таланте и уме, не сказал слова столь значительного, какое сказали они. Над ними только Тютчев и З.Н.Гиппиус»^[53].

Конечно, *крепостнику* Садовскому такое восхваление либералов было оскорбительно, и он оскорблял Тинякова. А тот решил мстить...

Под псевдонимом Иван Чернохлебов Александр Иванович опубликовал в журнале «Голос жизни» рецензию на сборник Садовского «Озимь. Статьи о русской поэзии».

Рецензия называется «Критика с погоста»^[54] и интересна не только в контексте «тиняковской истории» и как деталь тиняковского мировоззрения (которое, несмотря на его «неустойчивость», все же было), но и сама по себе.

В рассказе А.М.Ремизова «Жертва» изображен очень странный господин. В обществе живых людей он томится, скучает, делает и говорит всякие нелепости и несообразности, но стоит кому-нибудь поблизости умереть, он спешит ко гробу умершего и с наслаждением созерцает черты покойника. В конце рассказа разъясняется, что описанный господин вел себя так странно потому, что – вследствие некоторого весьма запутанного случая – он только по видимости был живым, на самом же деле давно был покойником.

Какой «странный случай» произошел с г. Садовским, мы не знаем, но что он – «сродни» ремизовскому герою, это несомненно. Всегда во всех его писаниях было явственно видно тяготение к «покойникам» и упорное нерасположение к живой жизни, к современности. <...>

Все хорошее и достойное – в прошлом; в настоящем все – тлен, пошлость и мерзость; вот последняя и постоянная мысль всех писаний г. Садовского. <...> Особенно же ясно его «покойническое» отношение к миру сказалось в его новой брошюрке «Озимь». От Бальмонта и Брюсова до Вербицкой и «футуристов» – всё, по его мнению, в современности плохо, низменно и уродливо. Поэзия Брюсова – «мяуканье павиана» (стр. 44), Бальмонт «нейдет дальше коньяка и флирта» (стр. 23), «вся современная журнальная литература – болотная плесень» (стр. 26), «давно вся литература русская превратилась в пустой огромный кокон, – где ткut дрянную и гнусную паутину

адриановы» и пр. (стр. 27) и т. д., и т. д. Спору нет, в современности много дурного, допустим даже, что в области литературы сейчас дурного гораздо больше, чем хорошего. Где же искать избавления, кто принесет его? А вот кто: «в деревенской глуши, в городках уездных, на постоянных дворах, на родительских погостах сидят те, кому дано двинуться, обновить Россию и освободить ее искусство и язык». Ответ невероятный в устах живого человека, но г. Садовской отвечает именно так («Озимь», стр. 28). По его мнению, Россию обновят те, кто «сидят на родительских погостах»! Мертвец проговорился, душа покойника не вынесла «зеленого шума» и завывала по тишине «родимых могилок». <...>

Возмутительно, когда «футуристы» во имя собственной бездарности отрекаются от бессмертных гениев прошлого, но во много раз возмутительнее, когда отрицают современность во имя «родительских погостов». <...>

Не за «футуристов» и не за Валерия Брюсова, «посрамленных» г. Садовским, поднимаем мы наш голос, а за жизнь – вечную, непрерывную и даже в уродстве внешнем внутренне-прекрасную! Пушкин – не враг нам и нашей современности, а друг, быть может, более близкий, чем своим современникам, но до костей его, тлеющих на каком-то погосте, нам дела нет! Пусть сидят там герой ремизовской «Жертвы» и Борис Садовской. Можно и должно бороться с уродствами в литературе, нельзя отказываться от любви к бессмертному прошлому, но ждать, что спасение придет «с погостов», и бить костями мертвецов по живым людям живой человек не может.

Иван Чернохлебов

* * *

Вскоре после публикации рецензии «Критика с погоста» Садовский послал Тинякову письмо со скрытой угрозой: «...Как поживает Алекс. Ив. Куликовский и Ив. Ал. Чернохлебов? <...> Здесь часто вижу с Ауслендером и у него бываю...» То есть дал понять, что помнит о статьях Тинякова в «Земщине» и знает, кто автор «Критики с погоста». Ну и припугнул не терпевшим юдофобов поэтом Сергеем Ауслендером, евреем по отцу.

Из письма Тинякова Садовскому от 6 июня 1915 года:

Бог Вас знает, за что Вы желаете истребить меня из литературы! Я Вам зла не делал и не желал, а Вы разным паршивым жуликам рассказали что-то про какую-то «Земщину», – и они этим уже начали пользоваться в своих низких целях. <...> Но Вы забыли, что Вы – сами черносотенец и юдофоб, что Вы познакомили меня и с Никольским, и с Розановым и что у меня есть копия с письма Б.Никольского к Вам по поводу одной статьи. А когда Вы у меня будете хлеб отнимать, я буду бороться, как зверь, как гад и как дьявол – вместе! Только жаль, что те мои силы, которые я готовил на борьбу со многими, мне придется потратить на

борьбу с «гражданином» Рославлевым да с «цивилизованным жандармом литературного цеха» – г. Ауслендером. Воображаю, какие душевные и нравственные беседы Вы с ним ведете! Да, г. Ауслендер «высоко держит знамя»! Как горностаи свою белую шубку, оберегает он свое иерусалимское дворянство, свою революционную незапятнанность. <...> Фет, Случевский, Лесков – богатыри были, да и то их Рославлевы с Ауслендерами затравили и в грязь втоптали. Но верую свято и твердо: будет время, и критика *русская* по достоинству отметит тех и других и громко скажет, что черносотенцы Тютчев и Фет дороже народу русскому, чем высоко-радикальные Ауслендеры, имена же их *odiosa sunt*^[55].

На следующий день Садовский ответил Тинякову вроде бы примирительным письмом:

Дорогой Александр Иванович! Письмо Ваше меня удивило. С какой стати я буду желать Вам зла? Я Вас искренно люблю, несмотря на Ваше черносотенство, но мне грустно, что Вы пишете иногда не то, что думаете. А что лучше, быть «холопом хозяйского рубля» или Азефом? Но можете быть уверенным, что я Вас не выдам и никто не узнает о существовании Куликовского. Спите спокойно и меньше пейте политуры.

С Ауслендером я ни о чем не беседую, ибо он мне глубоко противен и чужд.

Вот Вы наоборот. Я еще недавно хотел послать Вам объяснение в любви, хотел сказать, как Вы мне дороги, как я из всех литераторов ценю больше всех именно Вас. А Вы меня похабите и срамите всюду. За что? Читал недавно Лескова «Очарованный странник». Нахожу в герое большое сходство с Вами. Это примите за комплимент...

1915-й – год расцвета Тинякова и критика, и публициста. Откликается, причем не дежурно, с душой и позицией, на десятки книг, полемизирует не только с Сологубом, Шагинян, но и с Розановым, Бердяевым, Леонидом Андреевым, рассуждает о разных проблемах бытия и месте России в мире («На Западе стремятся поработить себе природу, – мы должны стремиться к творческому, но мирному сотрудничеству с природою. Активность Запада и миролюбие Востока должны мы соединить в себе, и плодом этого соединения должна стать наша будущая культура»).

Тиняков гостит у Чуковского и вписывает в его «Чукоккалу» притчу собственного сочинения «Самое дорогое», которую можно найти в повести Варжапетяна «„Исповедь антисемита“...». У самого Александра Ивановича альбом, куда пишут многие известные поэты, в том числе

Мандельштам («Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»), Ахматова («Я с тобой не стану пить вино...»).

И свои стихи пишутся.

Павших	в	сраженьях	мы	горько	жалеем,	—
Мы	и	жалеть	их	должны...		
Но	и	жалея,	проклясть	мы	не	смеем
Грозной						войны.
Стоя	над	трупом	погибшего	брата		
Видя		пролитую	кровь,			
Будем	мы	веровать	крепко	и	свято	
В		Божью	любовь!			
Скорбь	непосильную	Бог	не	возложит		
И	на	былинку	в	полях...		
Радость	о	Господе	все	превозможет		
В		наших	сердцах!			
Встретим	без	ужаса	грозные	битвы,		
Встретим		без	ропота	смерть!		
Ласково		примет	земные	молитвы		
Добрая				твердь!		

(Любопытно, кстати, почему сам Александр Иванович не отправился воевать? Молодой, крепкий, патриотически настроенный...)

Наверное, в тот год он почувствовал себя по-настоящему сильным в литературном мире, значимой общественной фигурой. И решил снова ударить по Борису Александровичу. Сначала в письме: «...Направление Ваше очень вредное в общественном отношении. На эту тему можно бы написать интересную статью. Но, кажется, кроме меня, никто не подозревает в Вас декадента-дьяволиста», – а потом и в печати.

В самой, пожалуй, либеральной газете «Речь» Тиняков опубликовал не менее, чем «Критика с погоста», ядовитую рецензию на книгу прозы Садовского «Лебединые клики», подписав ее на сей раз своей фамилией.

...Для г. Садовского современная жизнь, очевидно, слишком «некрасива», слишком бедна и сера, – почему он и путешествует все время по «роскошным чертогам былого». Что же он там видит?

«Литая из золота мебель возвышалась скромно и незаметно», – пишет он на стр. 23; немного дальше он созерцает: «икру бархатно-черную и нежную, как ланиты юного арапа» (стр. 27); еще дальше – «исполинский пирог на необъятном блюде» (стр. 31); у дворецких там – «серебристые голоса» (стр. 64), у героинь – «как звезды, сияли очи; пленительно изгибался рот, схожий с алым розовым лепестком» (стр.

116). Одним словом, г. Садовской совершенно пленен красотой, которой, увы! – уже нет. Все, что было, рисуется ему в ослепительном свете: «В 1755 году первопрестольная Москва хранила еще древний величавый образ», – пишет он на стр. 137, а несколькими строчками ниже поясняет: «от тесноты и кривизны во многих местах не расцепляются возы, и оттого часто среди улицы поднимаются крики и брань»... После этого читатель, во-первых, может сказать, что у г. Садовского странное понятие о «величавости», а во-вторых, может усомниться в правильности и всех других описаний г. Садовского^[56].

Переписка их заглохла, а в марте 1916-го Садовский ответил Тинякову тем самым стихотворным памфлетом. Началась тиняковская история, в результате которой герой моей книги оказался за бортом литературной и общественной жизни.

* * *

Быть может, когда-нибудь отыщутся мной факты (не исключая, что ученые ими располагают) его существования с осени 1916 до мая 1918 годов, но пока сомнительное свидетельство Георгия Иванова о том, что Александр Иванович продавал на рынке вещи «при Керенском», публикации в «Исторической вестнике», немногочисленные письма к нему и отрывки из дневника Алексея Ремизова – единственные даже не факты, а штришки.

Для меня загадка, почему Тиняков, свое крестьянское происхождение вспоминавший в 1915–1916-м всё чаще, не попытался прибиться к кружку Клюева. Никто в «Земщине» из новокрестьянских поэтов не печатался, но о симпатии если не к царю, то к царской семье по крайней мере Клюева было широко известно. А Клюев со товарищи стремительно набирали силу, буквально нагнали. Сначала Клюев в прямом смысле ставит ультиматум полковнику Ломану, лицу, особо приближенному к императорской семье:

На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой, – я отвечаю словами древней рукописи: «Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и часть с духовными считали своим великим грехом, что приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерах близ святителей с честными людьми». Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему.

Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо...^[57]

Затем, после свержения самодержавия...

Вот какими вспоминал новокрестьянских поэтов Рюрик Ивнев^[58], ставший вскоре соратником Есенина по имажинизму:

Это было недели через две после февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Ключевым, Петром Орешиним и Сергеем Клычковым. Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.

Сначала я думал, они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.

– Что, не нравится тебе, что ли?

Ключев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:

– Наше времечко пришло.

Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Ключева, ни Орешина, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться.

Мы простояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны.

Автор книги «Сергей Есенин. Роман с Петроградом» Вадим Баранов^[59] замечает, что вместо Орешина скорее всего был Пимен Карпов, «так как с Орешиним Есенин тогда еще не был знаком», но это сейчас неважно. И тот и другой горячо поддержали обе революции 1917-го. А Ключев так и вовсе вступил в партию большевиков...

У большевиков – вернее, с большевиками, – как мы знаем, оказался и Тиняков, недавний декадент-черносотенец. (Как его не расстрелял за те же статьи в «Земщине» какой-нибудь образованный комиссар?) И не просто оказался, а вслед за Есениным мог бы с полным правом утверждать: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее». Но с поправкой для обоих: Есенин написал это в автобиографии в 1922 году. Позже о своей левизне он упоминал всё реже. В последней автобиографии, за два месяца до смерти, обмолвится: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал всё по-своему, с крестьянским уклоном». Тот же крен вправо в 1922-м начнет совершать и Тиняков. И дойдет до концлагеря.

Приводя цитаты из мемуаров Георгия Иванова, я обязательно оговаривался, что достоверность их ставится многими литературоведами под сомнение. Тем не менее именно Иванов стал первым, кто создал из человека Александра Ивановича Тинякова литературного персонажа.

Тиняков появляется в «Петербургских зимах» (1928), его Иванов сделал главным героем очерков «Александр Иванович» (1933), «Человек в рединготе» (1933) и большого фрагмента из воспоминаний «Невский проспект» (1927).

Достаточно прочитав один за другим два последних текста, чтобы увидеть, как легко автор меняет детали, обстоятельства, нюансы.

Если путаницу в способе и поводе приезда повествователя на квартиру к герою очерков можно простить тем, что Георгий Владимирович запамятовал, то замену Брюсова на Григория Распутина в молитве Тинякова, портрета того же Распутина в тиняковском иконостасе на портрет Блаватской – думаю, нет. Ну и черносотенство и Распутин, которым поочередно поклоняется ивановский Одинокий, это далеко не одно и то же, а своего рода полюса монархизма...

Вообще с реальной действительностью Георгий Иванов не церемонился. Если в этих очерках повествователь видит Одинокого впервые в ресторане «Поплавок» и наблюдает, как тот напивается и устраивает драку, то в очерке «Александр Иванович» в «Поплавке» они уже знакомы, герой узнает повествователя: «...Знаю, помню, встречал, читал, ценю, наслаждаюсь, наш молодой талантливый и т. д. Только, извиняюсь, плюю на все таланты, молодые и старые, подающие надежды и оправдавшие их». А потом ни с того ни с сего рассказывает жуткую путаную историю про то, как познакомился на вокзале с братом и сестрой, влюбился в сестру и позвал их к себе в Сибирь (у Иванова здесь Александр Иванович сибиряк из Томского уезда). Потом брат и сестра уезжают, оставив на сохранение чемоданы. Приходит полиция, чемоданы вскрывают, и в них оказывается расчлененный труп – как оказалось, мужа «сестры»...

На достоверность содержание «Александра Ивановича» и не претендует. Возможно, эту страшную байку Тиняков действительно сам рассказал молоденькому поэту (Иванову во время их возможных дореволюционных встреч и разговоров было слегка за двадцать).

Быть может, эти чемоданы с трупом странным образом родились в воображении Александра Ивановича из сумки с деньгами, которую один из его родственников украл у почтальона (почтальон потом повесился).

И «Поплавок» у Иванова возникает во всех трех очерках, а в двух («Александр Тиняков» и «Александр Иванович») повествователь слышит, как хмельной Одинокий то *торжественно провозглашает*, то

бормочет: «Идет по водам... Валерий Яковлевич Брюсов – идет по водам. Но не к вам, а ко мне!»

Всё бы хорошо – впечатлила эта сцена автора. Но дело в том, что подобное мы находим у Ходасевича в статье «Брюсов» (причем написано значительно раньше любого из очерков Иванова):

Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения:

– Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!

То ли прочитал Георгий Владимирович статью Ходасевича, то ли слышал от Гумилева и решил, что такому материалу грех пропадать или остаться в таком сухом изложении. Ведь как *вкусно*: весна, ночь, разведенные мосты, «поплавок» над Невой и Тиняков-Одинокий видит идущего по водам Брюсова...

В общем, Георгий Иванов плодотворно поработал над созданием образа того Тинякова, каким мы его сегодня видим.

* * *

Михаил Михайлович Зощенко наверняка не читал воспоминаний русских эмигрантов, хотя европейская пресса, выходившая на русском языке, до начала 1930-х была более или менее доступна в СССР. Вообще Зощенко, кажется, мало интересовало прошлое – он с жадностью писал о настоящем, о том новом мире и новом обществе, что возникли после революции и Гражданской войны.

К написанию своих воспоминаний он приступил во второй половине тридцатых, и итогом стала странная, страшная и в то же время удивительно жизнеутверждающая книга – «Перед восходом солнца». Одна часть книги вышла в журнале «Октябрь» в 1943-м, затем публикация была остановлена цензурой. Вторая часть в Советском Союзе увидела свет только в 1972 году под названием «Повесть о разуме».

И вот в «Перед восходом солнца» (но во второй части) появляется поэт А.Т-ов...

Прошу извинить меня за обширные цитаты из наверняка многим хорошо известных произведений, но они, цитаты, нужны для демонстрации трагичного и, по-моему, героического сюжета, который создала сама жизнь: Зощенко – Тиняков.

Начну с эпизода из очерка Корнея Чуковского «Зощенко»^[60].

Жил тогда в Ленинграде один литератор, довольно способный, но гаденький. Звали его Тиняков. Когда-то он сочинял очень неплохие стихи в неоклассическом стиле, но потом стал сотрудничать в черносотенных погромных листках. Потом ударился в похабщину и стал торговать из-под полы непристойными виршами.

Потом нашел себе другую профессию: <...> встал на Литейном проспекте в позе стыдливого интеллигентного нищего.

Весь его облик был в полном соответствии с вывеской: волосы до плеч, борода клинышком, в глазах благородная гражданская скорбь. И в довершение типичности: фетровая мягкая шляпа да изодранный порыжелый портфель.

Деньги так и сыпались к писателю: сердобольные старушки, инвалиды, учителя и учительницы – люди, которые были гораздо беднее его, – охотно отдавали ему свои последние деньги. <...>

Все мы видели этого нищего и брезгливо сторонились его.

Никто и не подумал о том, чтобы как-нибудь изменить его жизнь.

Но вот по Литейному прошел Зощенко (кажется, вместе со Стеничем), и на глаза ему попался Тиняков.

– Сколько денег, – сурово спросил он у нищего, – вы добываете в месяц при помощи этой комедии?

Тот задумался:

– Сорок червонцев.

– Вот вам двадцать за полмесяца вперед – и сейчас же уходите отсюда! Не позорьте литературу... ступайте!

Нищий взял деньги, заулыбался, закланялся, снял с шеи свою вывеску и сказал деловито:

– За остальными я приду к вам в редакцию. Ровно через две недели, такого-то марта.

Но едва только Зощенко ушел от него, он снова напялил вывеску и вернулся на прежнее место.

Зощенко, увидев его на обратном пути, потребовал, чтобы он сейчас же ушел и не смел возвращаться сюда.

Нищий неохотно покорился.

По прошествии нескольких дней я, проходя со Стеничем мимо Летнего сада, увидел Тинякова у самых ворот, возле урны, с той же постной физиономией мученика, с той же вывеской и с тем же портфелем.

– Но ведь вы обещали Михаилу Михайловичу...

– Обещал насчет Литейного. И свято держу свое слово. А насчет Летнего сада у нас разговора не было! – ответил «писатель» с нагловатой усмешкой. – К тому же я продешевил... по наивности...

Впрочем, дело не в нем, а в Михаиле Михайловиче, который не мог допустить, чтобы звание писателя было втоптанно в грязь.

Когда я под свежим впечатлением заносил в свой дневник краткую запись о встрече с «писателем», мне и в голову не приходило, что она, эта встреча, будет впоследствии подробно описана Зощенко в одной из

заключительных глав его автобиографической повести «Перед восходом солнца».

В этой главе, которая сейчас передо мною, нищий изображен превосходно – горячими, эмоциональными красками. Зощенко был потрясен его откровенным цинизмом.

Их встреча на Литейном, оказывается, была не последней.

«Я, – пишет Зощенко, – встретил Т[инякова] год спустя...»

Но теперь лучше дать отрывок из «Перед восходом солнца», посвященный «поэту А.Т-ву» целиком.

Как забытые видения проходят передо мной эти маленькие сцены из прошлой жизни. Какие неприятные сцены, какие горькие воспоминания! Какая нищенская красота!

Так вот почему я рад, что больше не увижу ушедшего мира, мира роскоши и убожества, мира неслыханной несправедливости, нищеты и незаслуженного богатства! Вот почему я рад, что не увижу больше узкогрудых чахоточных людей, в сердце которых уживались высокие изящные чувства и варварские намерения.

Значит, нет никаких мотивов для сожалений. А оно было – это сожаление, и осталась эта боль. И я снова не мог понять, откуда эта боль возникает.

Может быть, она возникает оттого, что я видел печальные сцены прощания с этим ушедшим миром. Я был свидетелем, как уходил этот мир, как с плеч его соскользнула эта непрочная красота, эта декоративность, изящество.

Я вспомнил одного поэта – А.Т-ва.

Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции в 1912 году. И потом я увидел его через десять лет.

Какую страшную перемену я наблюдал! Какой ужасный пример я увидел!

Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны.

Передо мной было животное, более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта.

Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, – чуть ироническую, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал.

Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне.

Боже мой, что было в этой книжечке!

Ведь когда-то поэт писал:

Как	девы	в	горький	час	измены,
Цветы		хранили		грустный	вид.
И,	словно		слезы,	капли	пены
Текли	с	их		матовых	ланит...

Теперь, через десять лет, та же рука написала:

Пышны		юбки,		алы	губки,
Лихо			тренькает		рояль.
Проституточки-голубки,					
Ничего	для		вас	не	жаль...
Все	на	месте,		все	за
И		торгуют		всяк	делом,
Проститутка			статным		собой:
Я	–	талантом		и	телом,
					душой.

В этой книжечке, напечатанной в издании автора (1924), все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы. Но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их. В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении:

Пищи	сладкой,		пищи		вкусной
Даруй	мне,		судьба	моя,	—
И	любой		поступок		гнусный
Совершу		за		пищу	я.
В	сердце		чистое		нагажу,
Крылья		мыслям			остригу,
Совершу		грабеж		и	кражу,
Пятки		вылижу			врагу!

Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем история

нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения.

Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни. Но он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться. Перестал лепетать слова – ланиты, девы, перси. Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил с себя всю мишуру, в которую он рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле, – голым, нищим, омерзительным.

<...>

Этот поэт Т. действительно стал нищим. Он избрал себе путь, который он заслуживал.

Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой. Низко кланялся всем, кто проходил мимо. Он был красив. Его сидящая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное – харю с застывшей улыбкой человека, которому больше нечего терять.

Мне почему-то было совестно подойти к нему. Но он сам окликнул меня. Окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть.

Я отдал поэту почти все, что было в моих карманах. И за это он хотел поцеловать мою руку.

Я стал стыдить его за те унижения, которые он избрал для себя.

Поэт усмехнулся. Унижения? Что это такое? Унизительно не жрать. Унизительно околеть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно. Все остальное идет вровень с той реальной жизнью, которую судьба ему дала в обмен за прошлое.

Через час я снова проходил по этой же улице. К моему удивлению, поэт по-прежнему стоял на углу и, кланяясь, просил милостыню.

Оказывается, он даже не ушел, хотя я дал ему значительные деньги. Я и до сих пор не понимаю – почему он не ушел. Почему он не тотчас бросился в пивную, в ресторан, домой. Нет, он продолжал стоять и кланяться. Должно быть, это его не угнетало. А может быть, даже и доставляло интерес. Или не пришло еще время для его завтрака, и поэт для моциона остался на улице?

Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту».

Хватая за руки прохожих и грубо бранясь, Т. требовал денег.

Я не знаю его дальнейшей судьбы.

Образ этого поэта, образ нищего – остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни.

Я мог страшиться такой судьбы. Мог страшиться таких чувств. Такой поэзии.

Я мог страшиться образа нищего^[61].

Образ «Т.» отлично работает на идею книги Зощенко, это, пожалуй, один из самых сильных отталкивающих персонажей, заставляющих героя-повествователя противостоять ударам судьбы, преодолевать депрессию, меланхолию. Но образ во многом придуман Михаилом Зощенко. Тиняков «на углу Литейного» и Тиняков за письменным столом – разные ипостаси одного человека...

«Потерявший человеческий облик» Тиняков ужаснул не только героя «Перед восходом солнца», но и самого Михаила Михайловича. Тот вспоминает о нем в письме критику Евгении Журбиной от 27 марта 1931 г.: «Ну как же со статьей? <...> Третий месяц пошел, дорогая Евг. Ис.! Очень Вы меня огорчаете этим делом. Я бы, конечно, не торопился, но к лету без этого могу остаться без денег. Стану тогда, как Тиняков, у подъезда Вашего дома с протянутой рукой»; рассказывает Дмитрию Шостаковичу, который одним из первых посмотрит на уход Тинякова в нищие шире своих современников.

Новые стихи Тинякова были посвящены голоду поэта – это была их центральная тема. Поэт прямо заявлял:

«И любой поступок гнусный / Совершу за пищу я».

Это было прямое, честное утверждение, которое не осталось пустым звуком. Всем известно, что слова поэта часто расходятся с его делами. Тиняков стал одним из редких исключений. Поэт, еще не старый и все еще интересный мужчина, стал просить подаяния. Он стоял в Ленинграде на людном перекрестке с табличкой «Поэт» – на шее и со шляпой – на голове. Он не просил – он требовал, и испуганные прохожие давали ему денег. Тиняков хорошо зарабатывал таким образом. Он хвастался Зощенко, что зарабатывает намного больше, чем прежде, потому что людям нравится давать деньги поэтам. После тяжелого трудового дня Тиняков шел в дорогой ресторан, где ел и пил и встречал рассвет, после чего возвращался на свой пост.

Тиняков стал счастливым человеком, ему больше не надо было притворяться. Он говорил то, что думал, и делал то, что говорил. Он стал хищником и не стыдился этого.

Тиняков – это крайний случай, но не исключительный. Многие думают так же, как он, только другие культурные личности не говорят этого вслух. И их поведение не выглядит столь вызывающим. Тиняков обещал в своих стихах «пятки вылизать врагу» ради пищи. Многие культурные

люди могли бы повторить гордый крик Тинякова, но предпочитают помалкивать и потихоньку «лизать пятки»^[62].

Кстати, интересная история получилась с изданием воспоминаний Шостаковича, в некоторой степени подтверждающая слова композитора о Тинякове и «культурных людях».

В 1979 году эмигрировавший из СССР Соломон Волков выпустил в США на английском языке книгу «Свидетельство». Волков утверждал, что книга представляет собой воспоминания Шостаковича, с которым он много беседовал в последние годы жизни композитора.

В Советском Союзе «Свидетельство» было объявлено фальшивкой, вызвало бурное негодование, в том числе и у сына Дмитрия Дмитриевича Максима. Но в 1981 году Максим не вернулся на родину с гастролей в Европе, перебрался в США и стал говорить, что книга «Свидетельство» правдивая, не препятствовал ее переизданиям.

Немалая часть тех, кто негодовал при советской власти, после ее падения тоже изменили к «Свидетельству» отношение. Хотя, насколько мне известно, Соломон Волков до сих пор не предъявил бесспорных свидетельств (извините за каламбур) того, что это именно воспоминания Дмитрия Шостаковича, а не их пересказ или же вовсе фантазия. Нет в распоряжении исследователей даже текста «Свидетельства» на русском, если не считать перевода с английского.

* * *

В отличие от Дмитрия Шостаковича, в герое зощенковского «Перед восходом солнца» говорит только оскорбленное чувство: «поэт Т.» предал искусство, стал животным. Никакого протеста, никакой высшей честности он не видит.

Повесть, как я уже замечал, была закончена во время Великой Отечественной войны и частично опубликована в 1943 году в журнале «Октябрь» (выпустить главку с «поэтом Т.» редакция не успела), после чего на Зощенко обрушились не только партийные руководители, но и собраты, друзья. Михаил Михайлович был в прямом смысле раздавлен, остался без возможности жить литературой. Быть может, тогда он особенно часто вспоминал о стоявшем на панели Тинякове, мысленно представлял себя на его месте – на месте антигероя той книги, из-за которой его буквально вышвырнули из советской литературы.

Зощенко не повесил на грудь картонку с надписью, подобную той, что повесил Тиняков (замечу, что надпись «Подайте бывшему поэту» Зощенко выдумал, в реальности она была другой – «Подайте на хлеб поэту, впавшему в нужду»). Он предпочел каяться, «перековываться». В письме своей подруге Лидии Чаловой от 28 июля 1944 года Михаил Михайлович признавался:

Я теперь вроде начинающего. Мне-то это безразлично, даже легко. Но тебе, вероятно, будет досадно за меня, будешь огорчаться. А по мне, все равно, чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно – это уж не такой значительный вопрос. Несомненно, театром займусь. Опереттой. Эстрадой. Мало ли дела. Отдаю себе полный отчет, что все это не на 2-3 дня. Тут процесс длительный, так как дело не только во мне, а в новом требовании к искусству...

Дела действительно стали постепенно налаживаться, но через год Зощенко вновь раздавили – на сей раз поводом стал рассказ «Приключения обезьяны». Продолжение этой линии – ниже. А сейчас обратно в довоенное время...

Михаил Михайлович знал Тинякова еще задолго до революции, посещая литературные кафе; они общались по писательским делам в первой половине 1920-х; Тиняков подписал и подарил ему две последние книги стихов. По утверждению Чуковского, нищенствующий Александр Иванович стал прототипом героя повести Зощенко «Мишель Синягин» о падении интеллигента.

...Он стал иногда просить милостыню. И, выходя на улицу, иной раз останавливался на углу Невского и Фонтанки и стоял там, спокойно поджидая подаяния.

И, глядя на его лицо и на бывший приличный костюм, прохожие довольно охотно подавали ему гривенники и даже двугривенные.

При этом Мишель низко кланялся, и приветливая улыбка растягивала его лицо. И, низко кланяясь, он следил глазами за монетой, стараясь поскорей угадать ее достоинство^[63].

Заканчивается повесть тем, что главный герой прозревает – вспоминает, что в родном Пскове у него жена, дом, – и возвращается. Вскоре умирает, но в окружении родных, и на его могиле – цветы...

«Вообще человек, „потерявший человеческий облик“, – писал Корней Чуковский в воспоминаниях о Михаиле Михайловиче, – стал в ту пору, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, буквально преследовать Зощенко и занял в его творчестве чуть ли не центральное место»^[64].

Герой «Перед восходом солнца» заявляет, что не знает «его дальнейшей судьбы» (после примерно 1928 года), но сам Михаил Зощенко о судьбе Тинякова знал.

Не так давно, благодаря изысканиям литературоведа Марии Котовой, в научный оборот было введено письмо Тинякова от 6 июля 1933 года:

Дорогой Михаил Михайлович!

Был я в лагерях, где мне жилось очень хорошо, но откуда меня, к сожалению, освободили досрочно; отбывал я затем конец срока, – на положении почти свободного гражданина, – в Саратове, где голодал и бедствовал невероятно. Став полноправным гражданином, я вновь вернулся в Питер и нашел здесь жену, совершенно больную (туберкулез костей), безработную, голодную. Попрошайничать на улицах боюсь, – как бы опять не выслали! Ищу везде работы, есть надежда, что недели через две получу и буду иметь хоть кусок хлеба. Но что делать до тех пор? Невыразимо тяжело отнимать последние крохи у больной женщины, которая и без того много-много для меня сделала.

Вы были в свое время добры ко мне, подавали мне... Но не думайте, что я бессовестный и бесчестный попрошайка по натуре. С краской стыда, с болью в сердце обращаюсь к Вам я сейчас. Если Вы в состоянии, то помогите мне на эти ужасные две недели маленькой суммой (не больше 25 руб.). И если у Вас среди хлама найдутся какие-нибудь рваные, никуда не годные брючки и что-нибудь из белья, это тоже пожертвуйте мне: дошло дело до зареза.

Простите меня! Если не отвергнете моей просьбы, то черкните, когда зайти: беспокоить я Вас не буду, возьму и уйду, унося в сердце вечную, неизмеримую благодарность к Вам.

Искренно любящий Вас

Александр Тиняков

Адрес мой: ул. Жуковского, д. 3. кв. 7.

Александр Ивановичу Тинякову^[65].

Как бы хотелось узнать, помог ли ему Зощенко, отозвался ли как-то на это письмо. Не исключено, что и нет – Михаил Михайлович тогда находился в зените славы, собирался в писательскую командировку на Беломорканал.

«Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало», – сожалеет Зощенко, вспоминая Тинякова 1912 года, когда тот был чист, красив и читал эстетские стихи.

На мой взгляд, Александр Тиняков и был создан природой как раз для вот этой своей жизни, которая была «больше». После. Не будь ее, мы бы имели чуть другое представление об истории страны середины двадцатых – начала тридцатых, о людях, ее населявших. Впрочем, о людях – громко сказано: Одинокий и остался одиноким. По-настоящему одиноким, единственным в своем роде. Не прятался, как поэт Александр Добролюбов, в Узбекистане, не убил себя, как, видимо,

понявший, что писать ему свободно уже не дадут, Есенин, не пытался наводить мосты к чуждой ему идеологии, как Михаил Булгаков, не проданся за пайки, дачи и квартиры, как большинство перетекших из одного социального строя в другой литераторов. Тиняков остался свободным...

Возвращаюсь в 1946-й.

Да, негодование после публикации «Перед восходом солнца» улеглось, Зощенко вновь публиковался, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», но вскоре – без ведома автора – журнал «Звезда» перепечатал из «Мурзилки» рассказ Зощенко «Приключения обезьяны», за который его буквально втоптали в грязь.

Сначала было постановление ЦК ВКП(б), потом доклад Жданова, в котором Зощенко был назван «подонком литературы», «мещанином и пошляком»; вспомнил Жданов и «Перед восходом солнца»:

Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: – смотрите, вот какой я хулиган.

Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та «мораль», которую проповедует Зощенко в повести «Перед восходом солнца», изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести.

После этого разгрома Зощенко исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, публикации за последующие семь лет можно пересчитать по пальцам. Писатель вынужден был продавать вещи, вернуться к сапожному ремеслу, чтобы прокормить семью.

Вспоминал ли он в эти годы о Тинякове, о том, как тот, вернувшись из концлагеря и ссылки, просил его о помощи? Документальных свидетельств этого нет, впрочем, и круг общения Зощенко после очередного разноса резко сузился: многие друзья прекратили отношения, со случайными знакомыми он не откровенничал...

Летом 1954-го состоялась встреча опальных Зощенко и Ахматовой с английскими студентами, и на ней Михаил Михайлович позволил себе осторожно – это подтверждается стенограммой – выразить несогласие со словами Жданова о себе. Последовал новый разнос, на сей раз в кругу собратьев-писателей. «Потерял достоинство советского человека!» – говорили ему в лицо собратья.

«Я не стану ни о чем просить! Не надо вашего снисхождения, ни вашего Дружина (тогдашнего главреда журнала „Звезда“. – Р.С.), ни вашей брани и криков! Я больше чем устал!» – ответил Зощенко и вышел из зала, не дожидаясь решения писательского собрания. Это был бунт,

разрыв со средой, ставшей ему чужой и отвратительной. За без малого тридцать лет до Зощенко такой же бунт совершил и герой этой книги.

* * *

Здесь хочется остановиться подробнее на стихотворении Тинякова, строки из которого уже не раз звучали, – «Моление о пище». Приведу его полностью, с почти неизменным у Тинякова эпиграфом.

Моление о пище

Ухо во всю жизнь может не слышать звуков тимпана, лютни и флейты; зрение обойдется и без созерцания садов; обоняние легко лишается запаха розы и базилика; если нет мягкой, полной подушки, все же хорошо можно заснуть, положивши в изголовье камень; если не найдется для сна подруги, можешь обнять руками себя самого – но вот бессовестное чрево, изогнутое кишками, не выдерживает и не может ни с чем примириться.

Саади

Пищи	сладкой,	пищи	вкусной
Даруй	мне,	судьба	моя —
И	любой	поступок	гнусный
Совершу	за	пищу	я!

Я	свернусь	бараньим	рогом
И	на	брюхе	поползу,
Насмеюсь,	как	хам,	над богом,
Оскверню		свою	слезу.

В	сердце	чистое	нагажу,
Крылья		мыслям	остригу,
Совершу	грабеж	и	кражу,
Пятки		вылижу	врагу.

За	кусочек	конины	с хлебом
Иль	за	фунт	гнилой трески
Я, —	порвав	все связи	с небом, —
В	ад	полезу	в батраки.

Дайте	мне	ярмо	на шею,
Но	дозвольте	мне	поесть.
Сладко		сытому	лакею
И	горька	без пищи	честь!

Зощенко, судя по книге «Перед восходом солнца», прочитал его не ранее 1925 года. В сборнике «Его sum qui sum» стоит авторская датировка «ноябрь 1921». Скорее всего, она точная, так как в «Треугольнике», вышедшем в 1922-м, «Его sum qui sum» уже анонсировался.

1925-й – это относительно сытое, благополучное время. По крайней мере, не 1921-й. И вот что в августе того 1921-го писал в газете «Красный Балтийский флот» Тиняков (Герасим Чудаков) в статье «Мудрая суровость»:

Кондуктора и путевые сторожа на Мурманской ж.д. воровали продукты, продавали их и наживали миллионы. Им сладко елось и крепко спалось. Но на днях их судил революционный трибунал и двое главных грабителей приговорены к расстрелу (без права обжалования приговора), а остальные к лишению свободы на разные сроки. <...> Слепая жадность и обывательская любовь к одному лишь собственному брюху заглушили в них и голос совести, и голос рассудка. <...> Хищник, уносящий из порта 15 ф. муки или сахара, не только отнимает эти продукты у другого, быть может, нуждающегося более его, он делает вред решительно всем, в том числе и самому себе, потому что своими действиями ставит препоны развитию честного труда, задерживает наступление нормального гражданского порядка.

Почти в каждом номере газеты того периода – статьи о голоде в Поволжье.

И может быть, не о себе все-таки в 1921-м писал в «Молении о пище» Александр Иванович, а о таких вот кондукторах, портовых рабочих? Может быть, примерил тогда очередную маску, и она затем приросла к нему, стала тем самым «хищным оскалом», что увидел Зощенко?..

В вышедшей там же, в Петрограде, в 1922 году книжке Макса Жижмора «Шляпа. Куцопись» есть такие строки: «Весна. Цветы благоухают. / А воробьи клюют навоз. / Как просто птички разрешают / Экономический вопрос...», «Вчера я пел о булке белой, / Чтоб черный голод заглушить. / Душа на привязи у тела, / А тело хочет есть и пить. // Сегодня, пообедав плотно, / Пою о булке неземной, / И тело внемлет мне охотно / И отбивает такт ногой». Тон вроде бы игривый, но мысли такие вряд ли возникнут у человека, для которого трехразовое питание – норма.

А вот хорошо известный историкам литературы Серебряного века альбом Давида Левина, заведующего хозяйственно-техническим отделом издательства «Всемирная литература». Так называемый широкий читатель видит эхо этого альбома в эпиграфе к рассказу

Михаила Зощенко «Дрова» (1925): «И не раз и не два вспоминаю святые слова – дрова. А.Блок».

У Блока этих строк нет, но есть такие, вписанные в альбом Левина:

Давид		Самуилыч!		Едва
Альбом		завели,	–	голова
Пойдет	у	Вас	кругом: не раз и не два	—
Здесь		будут	писаться	слова:

«Дрова».

Осенью 1919 – зимой 1920-го в замерзающем Петрограде дрова были без преувеличения на вес золота. От Давида Левина зависело, кому и сколько вязанок выделить. Он завел альбом, где появились вроде бы опять же шуточные по форме, но драматичные по содержанию строки Гумилева, Блока, Сологуба, Чуковского, Оцупа, Кузмина, пушкиниста Лернера...

В альбоме были не только стихи о дровяных пайках, но и о продовольственных. Вот из пушкиниста Николая Лернера:

Желаю	Вам	еще	сто	лет
Командовать		конторой		нашей,
Есть	каждый	день	мясной	обед
И	поскорее		стать	папашей.
Пусть	Вас	всегда	спасает	рок
От	всякой	клеветы		злодейской
И	полный	вам	пошлет	паяк

Красноармейский.

Вот из Гумилева:

...И	пишу	строфой		Ронсара,
Но	у	бледных	губ	моих
Стынет				стих
Серебристой		струйкой		пара.

Ах,	надежда	всё	жива
На			дрова...

А Корней Чуковский посвятил стихотворение буфетчице «Всемирной литературы» Розалии Руре (которая вскоре завела свой альбом):

О,	милые		поэты!
Ужель	не	стыдно	вам
Фабриковать			куплеты,
И	оды,	и	сонеты

Березовым				дровам?
А	я,	презревши	прозу,	—
Подобно		соловью		—
Не		жалкую		березу,
Но		сладостную		Розу
Влюбленно				воспою.
Царица				благовоний,
О,		Роза,	без	шипов!
К	тебе	и	Блок,	и Кони,
И		Браун,	и	Гидони,
И		я,	и	Гумилев,
И		Горький,	и	Волынский,
И		пламенный		Оцуп,
И		Гржебин,	и	Лозинский,
И		даже	Сологуб	—
Мы	все	к	тебе	толпою
Летим,		как		мотыльки,
Открывши		пред		тобою
Сердца		и		кошельки.
Твое				благоуханье
Кого		не		приманит?
И	кто		из	заседанья
К	тебе		не	прибежит?
О,	этот		дивный	запах
Его	забуду		ль	я?
В	его		нежнейших	лапах
Досель		душа		моя.
То		запах		керосина
И	мыла,		и	колбас,
В	том		запахе	свинина
С		селедкойю		слилась!
То		запах		шоколада,
Грибов	и		папирос	—
Вот		нынешнего		сада
Сладчайшая		из		роз!

Позже Чуковский это свое стихотворение про буфетчицу и ее сокровища старался не вспоминать; в статье «Александр Блок» он приводит другое, «исполненное наигранного гражданского пафоса». (Приводить не буду, его легко отыскать.)

Писались стихи подобного рода не только в альбомы Левину, Розалии Руре, но и на заседаниях «Всемирной литературы», в домашних писательских кабинетах. В «Эпизодах моей жизни» Николая Александровича Энгельгардта немало о том, какие в разные годы были пайки, сколько стоили те или иные продукты... Тема еды возникает у того же Георгия Иванова. Тиняков просто довел ее до предела.

Ну и эпизод из другой эпохи, но обстоятельства почти те же, что и в Петрограде начала 1920-х.

Великая Отечественная война, эвакуация...

Из воспоминаний Фаины Раневской об Анне Ахматовой:

...В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

– Я буду вашей *madame de Lambaille*, пока мне не отрубили голову – истоплю вам печку.

– У меня нет дров, – сказала она весело.

– Я их украду.

– Если вам это удастся – будет мило. <...>

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.

– А я сейчас встретила Платона Каратаева.

– Расскажите...

«Спасибо, спасибо», – повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели^[66].

* * *

Продолжу розыски Тинякова-персонажа в произведениях его и наших современников.

Напомню о повести Федора Крюкова «Картинки школьной жизни», впервые опубликованной в 1904 году и переизданной в очередной раз в 2020-м. Советую ее прочитать даже безотносительно к Тинякову: в повести подробно и с сочувствием описана жизнь гимназистов, схвачены время, лексика, детали...

Вполне художественное описание Александра Ивановича в роли нищего находим в маленьком очерке Владимира Смиренского, который так и называется «Писатель-нищий»^[67]:

На проспекте Володарского (так тогда назывался Литейный – *Р.С.*), у книжного магазина «Современник», можно видеть необычного вида нищего. Прежде он стоял неподалеку от церкви, и на груди у него висел плакат: «помогите писателю, впадшему в нищету».

Кажется, весь Ленинград знает этого нищего. Но далеко не всем ведомо, что этот нищий и вправду писатель, и писатель талантливый. Он работал в свое время в журналах «Аполлон» и «Весы», у него издано три книги стихов и есть даже научный труд – «История русской литературы». Этот нищий – автор блестящих статей о Тютчеве, о Подолинском; его перу принадлежат интересные воспоминания о Блоке. Имя этого писателя-нищего – Александр Иванович Тиняков...

Многие интересуются: что, собственно, довело писателя до нищеты? Иногда ответ на этот вопрос уже при одном взгляде на Тинякова становится ненужным: бледное опухшее лицо, красные глаза, дрожащие руки красноречиво говорят об алкоголе. В книге его стихов есть признание:

...Я	-	тихий	пьяница...	без	звука
Сию		в	трактирном		углке
И	хлебный	шарик	мну	в	руке,
А	в	сердце	нарастает		мука...

Но не всегда хочется этому верить. Иногда он стоит, низко опустив голову. В такие дни видишь человеческое лицо, опечаленные, страдающие глаза.

Есть люди, которых не втиснешь в общепринятую рамку буржуазной морали, которые, быть может, и рады были бы быть как все «порядочные люди», но не могут.

На Западе таким был Верлэн, у нас – Помяловский, Глеб Успенский, Фофанов. Начинается это с «протеста», а кончается в большинстве случаев «белой горячкой».

Мы помним писателя Головина, автора известного в свое время романа «На каторге», – который закончил свои печальные дни – под забором... Тут уже не среда, не протест против строя жизни и не нужда, а только аморальность и совершенно явное психологическое предрасположение. Тинякова нужно отнести к этой последней категории.

Нам известно, что Тиняков все же продолжает работать. За последние годы у него накопилась новая книга стихов: «Песенки нищего». Как и все произведения Тинякова, книга эта (местами отвратительная по своему цинизму) отмечена печатью несомненного таланта.

Очерк этот составляет первую часть «Литературных прогулок»; вторая их часть («Поэт на свалке») посвящена Константину Олимову, который «пошел чернорабочим на свалку».

Литературовед Глеб Морев в своей статье передает слова Смиренского о реакции Тинякова на очерк о себе: «Несмотря на то что я в этой статье отдал дань его бесспорному дарованию, Александр Иванович статьи не принял и устроил мне по этому поводу целый скандал. Мы перестали здороваться». Причина, считает Морев, в том, что автор объяснил «биографический выбор Тинякова исключительно алкоголем».

Примерно через год и Смиренский, и Олимов, и Тиняков оказались в заключении. И если Александр Иванович в 1933-м вернулся в Ленинград, то Олимов и Смиренский, осужденные сначала на три года первый и на пять второй, вскоре получили по десять лет. Константин Олимов умер то ли в Барнауле, то ли в Омске в 1940-м, а Смиренский... О нем хочется написать несколько подробнее.

Владимир Викторович Смиренский родился в 1902 году под Петербургом. В пятнадцать лет опубликовал первое стихотворение, был знаком со многими литераторами; в 1921-м стал одним из учредителей, а вскоре и председателем литературной ассоциации «Кольцо поэтов» имени К.М.Фофанова. Ассоциация вела активную работу – выпускались книги, альманахи, была открыта книжная лавка, устраивались заседания, в которых участвовали Блок, Кузмин, Ахматова, Сологуб...

Вскоре, правда, ассоциация была закрыта по распоряжению ЧК, но под другими названиями «Кольцо» продолжало существовать и действовать. Сам Смиренский в автобиографии 1928 года пишет, что был председателем ленинградской ассоциации «неоклассиков», председателем общества имени Александра Измайлова, членом литературно-художественного кружка «Арзамас»...

В январе 1926-го его избирают членом правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей.

До своего ареста Владимир Викторович успел выпустить четыре сборника стихов, две поэмы, изданные отдельными книгами. Много публиковался в периодике; в автобиографии 1960 года он писал, что пользовался тридцатью двумя псевдонимами, стихи обычно подписывал «Андрей Скорбный».

Смиренский имел инженерное образование. Как инженера-гидротехника его *использовали* и во время заключения, и позже, когда формально он был освобожден. Вернуться в Ленинград ему не разрешили, несмотря на ходатайства и просьбы известных советских писателей. В 1949 году Смиренский поселился в поселке Солёный Ростовской области, который через год преобразовали в город Волгодонск.

Там он организовал поэтическую студию, литературный музей. Много писал, в том числе и воспоминания, среди которых есть и о Тинякове. Большая часть архива по завещанию Смиренского была передана в Пушкинский Дом. Его фонд там, как мне сказали, еще не обработан, так что прочесть воспоминания я не смог.

Умер Владимир Викторович в 1977 году в Волгодонске.

* * *

В записной книжке Даниила Хармса, датированной июнем – ноябрем 1930 года, приведено неточно (наверняка по памяти) четверостишие из всё того же тиняковского «Моления о пище»:

Пищи	жирной	пищи	вкусной
требует		душа	моя
и	любой	поступок	гнусный
совершу	для	пищи	я.

Хармс указывает и автора: «А.И.Тиняков».

(Примечательно, что следующая страница книжки отдана под список продуктов и цен на них:

Рассольник 12

Куру – 5 р.

Потроха – 5 р. и так далее.)^[68]

По мнению Глеба Морева, Тиняков послужил прототипом главного героя хармсовского рассказа «Рыцарь» – Алексея Алексеевича Алексеева. Если и послужил, то, наверное, отчасти. Спорить с известным литературоведом не стану, пусть читатель, уже знакомый с биографией Тинякова, судит сам:

Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так, например, однажды, увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошелки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу. <...> С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за Веру, Царя и Отечество, что и доказал в 14-м году, в начале германской войны, с криком «За Родину!» выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив. <...>

В 16-м году Алексей Алексеевич был ранен в чресла и удален с фронта.

Как инвалид I категории Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства.

Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу: «Я пострадал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания».

– И дурак! – сказал ему Константин Лебедев. – Наивысшую услугу родине окажет только ЛИБЕРАЛ.

Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича, и вот в 17-м году он уже называет себя «либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну».

Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консервированным салом и пшенной крупой. Но когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте, Христа ради, чреслами своими пострадавшему за родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, делал шаг вперед и, гордо, с достоинством, откинув назад голову, начинал петь:

На				баррикады
мы		все		пойдем!
За				свободу
мы	все	покалечимся	и	умрем!

И лихо, по-польски притопнув каблуком Алексей Алексеевич протягивал шляпу и говорил: «Подайте милостыню, Христа ради». Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи^[69].

Затем, соблазненный настоящим кофеем и пирожными, он согласился помогать спекулянту Пузыреву.

Но однажды, когда Алексей Алексеевич подкатил свои саночки к пузыревской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия – Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму. Но допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к десяти годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 28-м году обратно в Ленинград, Алексей

Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу пр. Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел:

На				баррикады
мы		все		пойдем!
За				свободу
мы	все	покалечимся	и	умрем!

Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели.

Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева.

Рассказ написан приблизительно в 1934–1936 годах. Скорее всего, Тиняков и Хармс были знакомы, не исключено, что Александр Иванович рассказывал Хармсу о своих выдуманных или реальных подвигах – например, как выносил женщин из пожара. Быть может, это послужило автору «Рыцаря» основой для описания «подвигов» Алексеева.

* * *

С большой долей вероятности отмечен наш герой в романе Константина Вагинова «Козлиная песнь».

Меня очень радует, что этот отличный, своеобразный писатель сейчас в настоящей моде. Не только его стихи и проза, но и он сам. Загадочная, почти подпольная фигура, человек, с одной стороны, не вписывавшийся в жизнь советского Ленинграда, а с другой, так оригинально, с такого необычного угла ее показавший.

Прозу Вагинова я открыл для себя неожиданно в двадцать лет. Ничего о нем не знал, не читал (если и встречал где-то упоминания, то не отметил). Уже после армии, в 1992 году, в книжном магазине взял толстенький зеленый томик с надписью «Конст. Вагинов» и погрузился... С трудом вырвался, заплатил на кассе и унес книгу домой. И месяца два жил в мире «Козлиной песни», «Трудов и дней Свистонова», «Бамбочады», «Гарпагонианы». Как говорится, читал и перечитывал...

Да, читал и перечитывал и тогда, и позже, но упомянутого в романе «Козлиная песнь» (первое издание – 1928 год) поэта Вертихвостова с Тиняковым не сопоставлял. Впрочем, Вертихвостов упоминается хоть и ярко, но единственный раз.

Лет пятнадцать назад я наткнулся на пост в «Живом журнале» филолога Евгения Козюры. Приведу его с небольшими сокращениями.

К ономастике «козлиной песни»

Литератор Вертихвостов

В главе VIII («Неизвестный поэт и Тептелкин ночью у окна») пристающее к Автору *существо в одежде сестры милосердия* говорит ему: «А может быть, вы литератор, вы ведь все, подлецы, нищенствуете. Я одного взяла на содержание, Вертихвостова. Он стихи мне про сифилис читает, себя с проституткой сравнивает. Меня своей невестой называет». Вероятнее всего, под фамилией Вертихвостов Вагинов «поселил» в своем романе поэта Александра Тинякова. В первую очередь на это указывает такая деталь, как *нищенство*, – с 1926 года Тиняков был «профессиональным» нищим, нищенство было и одной из причин его ареста в 1930 году. Скупым сведениям о творчестве Вертихвостова, сообщаемым *сестрой милосердия*, можно отыскать прямые параллели в поэзии Тинякова. Так, сравнению себя с проституткой соответствует шестая строфа из стихотворения «Я гуляю!» (1922): «Все на месте, все за делом / И торгует всяк собой / Проститутка статным телом, / Я – талантом и душой!» Под стихами о сифилисе, видимо, подразумевается стихотворение «В чужом подъезде» (1912): «Со старой нищенкой, осипшей, полупьяной, / Мы не нашли угла. Вошли в чужой подъезд <...> Засасывал меня разврат больной и грязный, / Как брошенную кость засасывает ил, – / И отдавались мы безумному соблазну, / А на свирели нам играл пастух Сифил!» <...> Наделение «перенесенного» в роман Тинякова фамилией *Вертихвостов*, скорее всего, связано с его репутацией исключительно беспринципного человека, сложившейся еще с 1916 года, когда открылось, что он практически одновременно сотрудничал в кадетской газете «Речь» и черносотенной «Земщине». <...> Все это объясняет, почему Вагинов в качестве этимона для фамилии своего персонажа выбирает выражение *вертеть хвостом* «хитрить, лукавить» (ср. глагол *хвостить* «врать, наговаривать, сплетничать»). <...> По всей видимости, отношения Тинякова с советской властью воспринимались современниками именно так.

Работа над этой книгой кроме всего прочего открыла мне, сколько людей не просто читают, а изучают произведения. Буквально дословно. Спасибо им...

Возвращаясь к Вагинову. С Тиняковым он если и не был знаком, то, очевидно, о нем знал – Александр Иванович написал по крайней мере две рецензии, в которых есть оценки вагиновских произведений. В газете «Последние новости» от 23 октября 1922 года читаем: «Но и эта вещь (как сказали бы сейчас, *художественное эссе* „Монастырь Господа нашего Аполлона“. – *Р.С.*), и стихи Вагинова, однако, с несомненностью

говорят, что дарование у него есть, что Мир он видит по-своему и только не умеет внятно рассказать об этом».

И 18 декабря того же года и в той же газете: «...Если в стихах Вагинова мерцают все же искры талантливости, то в его прозаической вещи – „Звезда Вифлеема“ – нет уже ничего, кроме голого бреда. <...> Возможно, что для психиатра записки Вагинова и будут очень интересны и поучительны».

Десять лет назад, после выхода «Navis nigra», некоторые критики писали, что автору нужны услуги психиатра, теперь же Александр Иванович советует обратить внимание психиатров на Вагинова и его *записки*.

* * *

Книга Бенедикта Сарнова «Пришествие капитана Лебядкина. Случай с Зощенко»^[70] вышла в 1993 году. Я позволю себе привести, с некоторыми сокращениями, фрагменты, касающиеся нашего героя.

Оговорюсь под конец книги, что считаю цитирование делом неблагодарным и даже нехорошим. Оправдание у меня (как, наверное, и у многих цитирующих) одно – вдруг кто-нибудь заинтересуется книгой, из которой цитата приводится, и прочитает всю книгу.

Фрагмент первый:

Наиболее последовательным из учеников капитана Лебядкина, с легкостью усвоившим не только его космогонию, но и его мораль, был Александр Тиняков.

Широкую и всеобъемлющую лебядкинскую формулу «Плюй на все и торжествуй!» Тиняков развернул и конкретизировал, недвусмысленно и подробно разъяснив, на что именно он плюет и как именно намерен торжествовать... (Далее следует стихотворение «Радость жизни». – Р.С.) <...>

Тут, пожалуй, уместнее вспомнить даже не капитана Лебядкина, а другого персонажа того же Достоевского:

Свету ли провалиться иль мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.

Да, это он, «подпольный человек» Достоевского, вышел из своего подполья непосредственно на арену Истории. Вышел и заговорил в полный голос. Заговорил даже стихами: «Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь / Падалью, полной червей, / Но пока жив – я ликую над трупами / Раньше умерших людей».

Животная эгоистическая радость по поводу того, что кто-то умер, а я вот пока еще жив, присуща человеку. Она свойственна не только отребью человечества. В той или иной степени это чувство может испытать каждый. Но рано или поздно в сознании нравственно нормального человека это чувство неизбежно вытесняется другим,

более высоким: чувством трагического равенства всех живущих перед лицом смерти, сознанием, что колокол звонит по тебе. Именно оно, это высокое чувство своей причастности всему роду человеческому, и было во все времена источником и предметом поэзии.

Конечно, поэзия говорила людям не только это. Она говорила и другое. Она говорила, например: «Мертвый в гробе мирно спи, / Жизнью пользуйся живущий...»

Она утверждала право каждого живущего ходить по могилам, есть кладбищенскую землянику, вкуснее и слаще которой нет, и жить, не смущаясь тем, что под каждым могильным камнем лежит, как говорил Гейне, целая всемирная история. Да, она утверждала и это. Но как!

Идешь	на	меня	похожий,
Глаза		устремляя	вниз,
Я	их	- опускала	- тоже!
Прохожий,			остановись!
Прочти,	-	слепоты	куриной
И	маков	набрав	букет,
Что	звали	меня	Мариной
И	сколько	мне	было лет...
Но	только	не	стой угрюмо,
Главу	опустив	на	грудь.
Легко	обо	мне	подумай,
Легко	обо	мне	забудь.
Как	луч	тебя	освещает!
Ты	весь	в	золотой пыли...
И	пусть	тебя	не смущает
Мой	голос	из-под	земли...

(Марина Цветаева)

Вопреки содержащемуся в этих стихах словесному призыву забыть о мертвых, не смущать себя памятью о них, весь лирический строй стихотворения, весь его эмоциональный заряд утверждает другое. Он говорит: колокол звонит по тебе, мы связаны друг с другом, ты – такой же, как я. А я была такою же, каков ты сейчас. Не забывай об этом. Мы все – одно. Мы все – часть человечества.

И вдруг: «Вы околели, собаки несчастные, – Я же дышу и хожу...»
Это было поистине ново.

Новизна стихов Александра Тинякова состояла не только в их поразительной цинической откровенности. Новизна их была в том, что поэзия тут как бы перечеркивала, отрицала самое себя.

Грубость и низость могут быть сюжетами поэзии, но не ее внутренним двигателем, не ее истинным содержанием. Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем (Владислав Ходасевич).

Новизна стихов Александра Тинякова состояла в том, что поэт открыто объявил себя глашатаем всего самого низменного и темного, что только есть в природе человека.

Смачно плюнув на любовь к ближнему, Тиняков следующий свой плевок, естественно, адресовал автору этой оплеванной им заповеди. (Далее следует отрывок из стихотворения «Долой Христа!» – Р.С.)

<...>

Нельзя сказать, чтобы сами по себе идеи эти ошеломили своей новизной. О беззаботном существовании по ту сторону добра и зла нам случалось слышать и раньше. Однако, установив этот факт, мы не поколебали ошеломляющей самобытности этих стихов, ничуть не убавили их жуткой, но несомненной художественной оригинальности.

Философия такая действительно была.

Но стихов таких до Тинякова (вернее, до капитана Лебядкина) никогда прежде не было.

От философских концепций до лирических стихов – дистанция огромного размера. Одно дело провозгласить, что человек должен стать по ту сторону добра и зла, и совсем другое – с полной искренностью сказать о себе самом: «Живу – двуногое животное, – Не зная ни добра, ни зла».

Положим, Александр Тиняков, прежде чем стать в ряды последователей капитана Лебядкина, был человеком книги. Под воздействием вполне определенных обстоятельств (к этому мы еще вернемся) в один прекрасный день он произвел кардинальную переоценку всех моральных ценностей и осознал себя «двуногим животным». Но для того, чтобы такую переоценку произвести, ему безусловно пришлось проделать над собой какую-то работу.

Что касается капитана Лебядкина, то он никакой работы над собой не проделывал. Он всегда был таким, каким запечатлел себя в своих бессмертных стихах. <...>

Мир Зоценко – это мир торжествующих капитанов лебядкиных. Человек, пытающийся напомнить им заповеди христианской морали, выглядел бы еще большим монстром, чем у Достоевского капитан Лебядкин со своей «новой моралью».

Александр Тиняков, в общем, правильно оценил перспективы Иисуса Христа, если бы он подвизался в эту историческую эпоху: «В наше время его б посадили к сумасшедшим, за крепкую дверь...»

Да что Христос! В этом мире странным и нелепым исключением, обреченным на гибель монстром выглядит человек, даже очень робко пытающийся настаивать на существовании каких-либо ценностей, помимо тех, что грубо и осязаемо служат его потребностям.

Второй фрагмент:

Естественно было бы предположить, что, вывешивая у себя на груди плакат – «Подайте бывшему поэту», – Александр Тиняков хотел что-то кому-то доказать, устроить нечто вроде политической демонстрации: вот, мол, до чего большевики довели интеллигентного и даже известного в прошлом человека!

Но, скорее всего, он просто резонно рассчитывал, что, прочитав эту завлекательную надпись, какой-нибудь прохожий расщедрится больше обычного. То есть он действовал совершенно в духе Остапа Бендера, который заставил Кису Воробьянинова просить милостыню, повторяя на трех языках: «Подайте бывшему депутату Государственной думы!» С той лишь разницей, что, в отличие от Кисы, который депутатом Государственной думы никогда не был, Александр Тиняков и в самом деле был некогда поэтом, и даже отнюдь не бесталанным.

Впрочем, не только это отличало Александра Тинякова от Кисы Воробьянинова.

Киса согласился просить милостыню лишь временно, лелея свою великую мечту добыть бриллианты, спрятанные мадам Петуховой, и, таким образом, вернуть себе свою прежнюю дивную жизнь. И, несмотря на то что он был одушевлен этой великой целью, заниматься нищенством ему все-таки было мучительно стыдно.

Что касается Александра Тинякова, то он решил сделаться профессиональным нищим навсегда. И не то что стыда, но даже малейшей неловкости он по этому поводу не испытывал. <...>

Может быть, тут была и доля кокетства, естественное желание сделать хорошую мину при плохой игре, скрыть сконфуженность под маской оголтелого и наглого цинизма. Может, и так... Но главным в поведении и самочувствии Тинякова было все-таки не это. Главным было чувство безнадежности, острое сознание, что к старому возврата больше нет, что все, чем он занимался раньше и чем было обеспечено его место под солнцем, отныне никому не нужно и никогда уже больше не понадобится.

Надо сказать, что эта простая и ужасная мысль о полной своей социальной ненужности поразила не одного только Тинякова.

Я представил себя нищим. Воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел... Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу, никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что

же мне делать? И я становлюсь нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка «Писатель» (Юрий Олеша).

Совпадение поразительное. Не стоит, однако, забывать, что Александр Тиняков на самом деле стоял на углу Литейного и просил милостыню и на груди его висела картонка с надписью: «Подайте бывшему поэту». Что касается Юрия Олеша, то он всего лишь вообразил себя нищим с кличкой «Писатель». Он воображал себя нищим примерно так же, как Том Сойер воображал, что было бы, если бы он вдруг утонул. <...> Как на похороны сбежался бы весь город и как неутешно рыдала бы тетя Полли, как она упрекала бы себя, поняв наконец, что была бесконечно виновата перед ним, Томом, и как наконец оценила бы его самая красивая девочка их воскресной школы – Бекки Тэтчер.

Писатель Юрий Олеша, в отличие от поэта А.Тинякова, надеялся, что тетя Полли (советская власть) поймет в конце концов, что она была не права. Она поймет, что он, Юрий Олеша, со своей любовью к искусству, к музыке, со своим умением создавать удивительные метафоры, со своей тонкой и артистичной душой все-таки зачем-то нужен ей, что его, пожалуй, можно и не выбрасывать на мусорную свалку, что все эти его несколько старомодные и даже комичные свойства авось еще ей на что-нибудь сгодятся. <...>

В отличие от пессимиста и циника Тинякова, Юрий Олеша был оптимистом. Он верил, что все как-нибудь обойдется. <...>

Жуткая трансформация Александра Тинякова потрясла Зощенко, как может потрясти лишь предвестие истины. По его собственному признанию, эта картина осталась в его памяти как самое ужасное видение из всего того, что он встретил в своей жизни. Она отравила его сознание каким-то подобием трупного яда. <...>

В отличие от зощенковского Мишеля Синягина, он (Тиняков. – Р.С.) ведь на самом деле был когда-то настоящим поэтом. Не потому, что успел выпустить несколько книг и даже попасть в антологии, а потому, что и в тех, прежних своих стихах честно пытался выразить некую реальность своей души.

Я	весь	иссечен,	весь	изранен,
Устал	от	слов,	от	чувств
Но,	–	словно	с	цепью
Неразлучим		с	надеждой	ум.

Ужасен		жребий		человека:
Он	обречен		всегда	мечтать.
И	даже		тлеющий	калека
Не	властен	счастья	не	желать.

Струится	кровь	по	хилой	коже,
----------	-------	----	-------	-------

Все	в	язвах	скорбное	чело,
А	он	лепечет:	«Верю	Боже!
Что	скоро	прочь	умчится	зло,
Что	скоро	в	небе	загорится
Мне		предреченная		звезда!»
А	сам	трепещет,	сам	боится,
Что	Бог	ответит	–	«Никогда!»
Увы,	всегда	над	нашим	мозгом
Царит		мучительный		закон.
И,	как	преступник	жалкий	к розгам,
К	надежде	он		приговорен!

Стихотворение называлось «Под игом надежды» и было ответом на известные строки Боратынского:

Дало	две	доли	Провиденье
На	выбор	мудрости	людской:
Или	надежду	и	волненье,
Иль	безнадежность	и	покой.

Безнадежность и покой Тинякову казались недостижимым идеалом. Пока человек надеется – его душа жива. Тиняков ощущал это неистребимое свойство человеческой души как страшное бремя, которое он хотел бы сбросить. Иначе говоря, он готов сам умертвить свою душу, да вот – никак не получается!

Стихотворение это показывает, что к превращению в нищего Тиняков готовился давно. Он как бы примеривался к этой роли. Вот вообразил себя «тлеющим калеккой»... Но оказалось, что ни кровь, ни гной, ни язвы – ничто не освобождает человека от этого вечного проклятия: надежды. Чтобы стать совершенно свободным, мало погрязнуть в несчастьях, язвах, нищете. Надо сжечь за собой все мосты. То есть твердо решить: это конец, надеяться больше не на что.

И вот – освободился.

Легко ли это ему далось? Трудно сказать. Во всяком случае, не так легко, как это представлялось Михаилу Зощенко. Даже по одному только этому стихотворению видно: чтобы превратиться в то, во что он превратился, недостаточно было просто «сбросить с себя мишуру, в которую он рядился до революции». Тут нужна была большая работа.

Третий фрагмент:

Окончательно уверившись, что жизнь устроена обидней, проще и не для интеллигентов, Зоценко не превратился в Александра Тинякова. Но он и не умер, не сошел с ума. Он решил принять этот обеззвученный, лишенный музыки мир как единственную реальность. Он решил исходить из того, что «месяц и звезды» (как и Музыка, История, Царство Божие, Телеологическое тепло и прочие фантомы) тоже относятся к тому лишнему, что интеллигенты «накрутили на себя» за долгие века своего ирреального, выдуманного бытия.

Не надо, однако, думать, что Зоценко принял такое решение лишь только потому, что хотел приспособиться к новым условиям существования, – научиться жить в новом, обеззвученном мире, из которого ушла музыка.

* * *

В 1995 году вышла в свет огромная антология Евгения Евтушенко «Строфы века», в которую он включил три стихотворения Александра Ивановича: «Плевочек», «Проститутка», «Собаки».

Спустя почти десять лет в газете «Новые Известия» (5 мая 2006-го) была напечатана небольшая подборка из двух стихов Тинякова с предисловием Евтушенко и его стихотворением, посвященным герою этой публикации.

Евгений Александрович выбрал «Под игом надежды» и вот такое:

Леопард		Папуасович	Лыко
Умывался	в	ручье,	близ Америки,
А	жена	его,	жирная, дико
Завывала	в	жесточкой	истерике.
Леопард		Папуасович	вымыл
Грудь	и	шею	водою жемчужною
И	внезапно	почувствовал	стимул,
Излечить	чтоб	супругу	недужную.
На	граните	ногами	базируя,
Подошел	он	к	беспомощной даме
И,	своим	безрассудством	бравируя,
Стал	гвоздить	он	ее сапогами!..

При жизни оно не было опубликовано, обнаружено Николаем Богомоловым в фонде Бориса Садовского в РГАЛИ. Стихи были приложены к письму Тинякова Садовскому от 14 июля 1913 года из

Теориок. В письме пояснение: «Кроме статей и рецензий, я написал несколько стихотв. серьезных и несколько „экзотических“, посвященных Гумилеву. Вот образцы моих „экзотических стихов“».

Не знаю, зачем Евтушенко решил представить читающей публике Тинякова и этим стихотворением, которое вне контекста выглядит полнейшей чепухой. Может, хотел показать, что и пошутить Александр Иванович пробовал...

Предисловие, а вернее, статья Евтушенко большая. Называется «Сожитель со своей эпохой».

<...> Тиняков красочно расписывает свои пороки, что тогда было до полуобморочности модно. У каждой эпохи свои прибабасы. Сейчас, например, классическим донжуаном быть пресновато. И, как век назад, в моде сексуальное интересничание. Поэтому попсовые идола и идолицы создают вокруг своих не особенно переполненных мыслями головок ореол полового диссидентства, будучи слишком трусливыми для диссидентства гражданского. Прикидываются, что они нетрадиционной ориентации – на это клюет всякая плотвичка: «Ах, какие они неординарные!»

Всё это мы уже проходили. И Тиняков предъявлял в стихах неопишуемые страсти-мордасти: «И вот над ложем исступлений, Залитых заревом стыда, Взошла участница радений – Злой Извращенности звезда» <...> «Я – как паук за паучихой – За проституткой поползу И – свирепея, ночью тихой Ее в постели загрызу». А рядышком – нечто, хоть в «Родную речь» вставляй: «Подморозило – и лужи Спят под матовым стеклом. Тяжело и неуклюже Старый грач взмахнул крылом... Клюв озябшей лапкой чистя, Он гадает о пути, А пред ним влекутся листья И шуршат: „Прощай! Лети!“»

Хорошо ведь, ничего не скажешь. Может, настоящий, прячущийся от людей и от самого себя Тиняков именно здесь? Но в восприятии поэзии есть жестокое свойство – если у читателя возникает отвращение к личности автора, то он, читатель, инстинктивно отторгает даже те строки, которые мог бы запомнить на всю жизнь. Поэту нельзя переигрывать в роли плохого человека. Заигравшись, поэт уже не может выкарабкаться из созданного им самим образа. <...>

Но и в самых неприятных стихах Тинякова есть поучительность горького урока всем нам, как опасно заигрываться в роли плохого человека, и ценность невыдуманных показаний о том, что происходит, когда вседозволенность личностная переходит во вседозволенность гражданскую и наоборот. Смердяковщина всепроникающа, когда эти две аморальности смыкаются и необратимо разрушают даже одаренных людей.

Но блестиночки истинного, созданные этим человеком, сравнившим себя с плевочком, мерцают если не на берегах летеиских, то хотя бы на берегах наших русских канав, поросших лопухами и подорожником.

Евгений Евтушенко написал о Тинякове и стихотворение. (Впрочем, как и о каждом персонаже своей многотомной антологии «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии», составной частью которой стала публикация в «Новых Известиях».) Первые строки этого стихотворения стали эпиграфом к моей книге...

После выхода «Строф века» на Евгения Евтушенко обрушился вал критики. Каждый том «Десяти веков русской поэзии» тоже вызывал много нелюбезных откликов. Не буду приводить высказывания Константина Кузьминского, Алексея Пурина, Дмитрия Кузьмина и многих других, встретивших работы автора в штыки. Да, антологии субъективны, но они авторские, ентушенковские. И так или иначе, но именно они вернули из мрака забвения многие имена, строки тех, видимо, кого Константин Кузьминский назвал «строительным мусором».

* * *

В журнале «Наша улица» (№ 1 за 2005 год) опубликовано большое, апологетическое эссе поэтессы Нины Красновой «Одиноким поэт Тиняков».

Вначале приведу несколько коротких цитат: «Я думаю, что чем больше у поэта, и вообще у художника, „амплитуда колебания“ между высоким и низким началами, тем он гениальнее»; «Тиняков написал этот сонет-акrostих (посвященный Нине Петровской. – *Р.С.*) 12–13 октября 1911 года, в селе Пирожково. А кажется, что он писал его на небесах, в роскошном дворце Зевса»; «Тиняков был талантливым учеником своего учителя (Брюсова. – *Р.С.*). Но в любви и страсти, и в физических удовольствиях, и в изображении всего этого, в высоком искусстве поэзии пошел еще дальше, чем Брюсов. Превзошел своего учителя – во всем, по всем показателям»; «...Тиняков – поэт грязи, но он „ангел грязи“. Он собрал в себе всю грязь мира и сделал из нее чистое золото поэзии. Вот – Поэт. Вот – Поэт в чистом виде! Тиняков – великий поэт»; «Тиняков опускался на это дно жизни ниже всех поэтов своего времени, а поэтому (и еще потому, что он великий поэт и обладал силой великого поэта, атланта, и находился под покровительством Бога) он сумел подняться в поэзии на такую вершину, на которую никто из его предшественников и современников и не поднимался. Он поднялся на такую вершину, на которую смотреть страшно. Он поднялся на такую вершину, которую не каждый с земли увидит. Наверное, поэтому его никто и не видит?»

Немало места в эссе отведено сравнению Тинякова с Есениным:

Если бы Тиняков был моложе Есенина, то можно было бы сказать, что он – последователь и ученик Есенина, как, допустим, последователем и учеником Есенина считается Рубцов, который, на мой взгляд, всего-навсего слабая веточка от древа Есенина <...>. Но не Тиняков моложе Есенина, а наоборот, Есенин моложе Тинякова, а Тиняков, наоборот, – старше его, на целых девять лет. Так значит не Тиняков – последователь Есенина, а наоборот, Есенин – последователь и ученик Тинякова! А Тиняков – его предшественник и учитель! <...>

Тиняков своей поэзией предвосхитил Есенина! И оказал на него свое влияние! Считалось, что на Есенина оказали свое влияние Кольцов, Блок, Клюев, Городецкий, позднее – Пушкин и другие... Но ни один из литературоведов ни разу не назвал среди «других» – Тинякова! А он среди них – может быть, самый главный! Когда Есенин говорит: «Я читаю стихи проституткам / И с бандитами жарю спирт...» или: «Мне бы вон ту, сисястую, она глупей...» И когда он говорит: «Если не был бы я поэтом, / То, наверно, был бы мошенник и вор...» И когда он говорит: «И похабничал я и скандалил / Для того чтобы ярче гореть...»

Ведь он все это говорит под влиянием на него богемной, «кабацкой» поэзии, а Королем этой поэзии был, как я сейчас понимаю, не кто иной, как Тиняков, а потом уже Есенин! Есенин был не первым, а вторым, за Тиняковым. Но литературоведы специально, что ли, замалчивали Тинякова, не говорили о нем, что был до Есенина и жил в одно время с ним такой поэт, специально оставляли его в тени? «Для того чтобы ярче гореть» Есенину? Чтобы у него не было соперников в своей области? Чтобы у него не было литературного двойника, литературного клона? Чтобы он был в России один такой богемный, один такой кабацкий, один такой предельно искренний и надрывный, один такой удивительный, гениальный «самородок», чтобы его и сравнить было не с кем! Или они не знали о Тинякове? Как не знали они и о земляке Есенина Полонском, который тоже оказал на него свое влияние? <...>

Тинякова и Есенина надо читать в таком порядке: сначала – Есенина, а потом Тинякова. Тогда читатель испытает и радость открытия поэзии Есенина, и потом – по нарастающей – радость открытия поэзии Тинякова. А если читать сначала Тинякова, а потом Есенина – то Есенин покажется по сравнению с ним слишком благопристойным и пресноватым, и в чем-то покажется вторичным. <...>

Есть у Тинякова красивое стихотворение «Любовь» – о женщине в белом, посвященное Феле Павловой:

Где-то	над	жизнью,	над	миром,
где-то		далеко,		давно
Видел	я	женщину	в	белом
сквозь		голубое		окно.

Властно меня Женщину сквозь	всегда в	лишь голубое	опьяняет белом	чувство одно: увидеть окно.
--------------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------------

Когда читаешь это стихотворение у Тинякова, так и хочешь воскликнуть:

– Да это же – как у Есенина! У него – есть о девушке в белом: «Да, мне нравилась девушка в белом, / Но теперь я люблю в голубом».

Но тут же думаешь, что Тиняков написал свое стихотворение на много лет раньше, чем Есенин, в 1905 году, а не в 1925 или каком там? И значит, это не у Тинякова – как у Есенина, а у Есенина – как у Тинякова! И очень много у Тинякова таких стихов (и любовных, и кабацких, и богохульских), когда ты хочешь воскликнуть:

– Да это же – как у Есенина!

Но тут же думаешь... Да нет, это у Есенина – как у Тинякова...

Вот, имеется у Александра Ивановича поклонница, которая ставит его впереди Есенина не только потому, что он родился и стал писать стихи раньше, но и, видно, по уровню таланта.

* * *

В конце 1990-х от упоминаний литературоведы постепенно стали переходить к отдельным работам о Тинякове.

Еще до выхода собранной Николаем Богомоловым книги тиняковских стихотворений в журнале «Вопросы литературы» появилась статья В.Богданова «Всё ли дозволено гению? Полемические напоминания»^[71].

Автор рассуждает о цинизме в литературе, вспоминает о споре утилитаристов со сторонниками чистого искусства, происходившем в середине XIX века. А Тиняков, которого почти не вспоминают (на момент публикации статьи), служит своего рода поводом.

Признаюсь, я не читал этой статьи, когда начал писать книгу. И вот ведь как совпало, начал ее практически так же, как начинает В.Богданов:

История литературы богата примерами непростительного забвения писателей. И что особенно поражает в списке забытых и полузабытых имен – встречаются в нем и писатели, которые будто для того только и появились в истории, чтобы с графической резкостью и схематической определенностью выявить в литературе какой-либо ее эстетический феномен, призвать во весь голос критику и эстетику к его осмыслению

и... напрочь исчезнуть из памяти читателей и критиков. Одним из таких изгоев – пожалуй, это самое подходящее слово для его литературной судьбы и биографии – был Александр Иванович Тиняков...

И дальше:

Ту фигуру умолчания, которая сопутствовала и сопутствует Тинякову, можно в какой-то мере – хотя «мера» эта слишком наивна – объяснить его внешним обликом, образом жизни. <...>

Да, если верить <...> авторитетным мемуаристам, выглядел и вел себя Тиняков неприглядно. Но если он поэт, то какое это имеет значение, тем более для нас, сегодняшних его читателей? Поэт, пока не требует его к священной жертве Аполлон, «меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он». <...>

Мих. Зощенко не совсем прав, когда замечает: «Вместе с тем история нашей литературы, должно быть, не знает сколь-нибудь равного цинизма...» <...> Русская литература знала цинизм, его идеологию и практику, прежде всего благодаря Достоевскому: это и князь Валковский («Униженные и оскорбленные»), и «подпольный человек», бросивший вызов миру и его нравственным установлениям, это капитан Лебядкин («Бесы»), это герои фантазмагорического «Бобка», это, наконец, Федор Павлович Карамазов, Смердяков. Так что у Тинякова в «разработке» проблемы цинизма был могучий предшественник. К слову, Тиняков, как следует из аннотации издательства на его сборник «Треугольник», подготовил рукопись «Личность Достоевского». Что касается европейских предтеч поэта, их можно было бы насчитать куда больше. Достаточно назвать Бодлера. Современники утверждают, что Тиняков хотел стать русским Бодлером...

Творческая ориентация Тинякова на Достоевского была, однако, до уникальности своеобразна: он «очистил» циничных героев Достоевского от авторской философской и нравственной рефлексии, от авторской субъективности, от идейно-эмоциональных оценок. Он снизил их, заземлил. Сделав их с помощью такой операции автономными, он идентифицировал с ними свое лирическое «я» и создал новые творческие объекты! Такого русская литература действительно не знала: цинизм предстал авторской позицией. Естественно, что даже у подготовленного читателя такие художественные феномены вызвали нравственное содрогание... <...>

Вл. Ходасевич заметил о стихотворчестве капитана Лебядкина: он «на каждом шагу роняет свою высокую тему в грязь невежественной и пошлой поэтики». Тиняков же, напротив, поднимает свою тему – безупречной, интонационно упругой ритмикой, точно отобранной

лексикой, экспрессивными предметными деталями – в сферу «почти гениальной» (Зощенко) поэзии!

Подобные парадоксы – гений и злодей – ставят нашу эстетику в тупик, поскольку она до сих пор уклоняется от решения ключевых вопросов. Она остается либо нравственной, либо идеологической, либо исторической – какой угодно, но только не эстетической. Она никак не осмелится ввести в загадочную формулу «И», предпочитая ему спасительное «ИЛИ»...

После этого В.Богданов о самом Тинякове и его стихах надолго забывает, сосредоточившись на проблеме гения и злодейства, цинизма в литературе.

Статья интересна (сколько интересных статей рассыпано по периодике прошлого, и вряд ли они когда-нибудь будут вновь опубликованы, собраны в книги!), но относительно Тинякова в ней немало ошибок и неточностей. На них и сконцентрировал внимание литературовед Никита Елисеев в своем ответе «Что не дозволено ученому. Просто напоминание»^[72].

Основная часть работы – комментарий вот к этой цитате из статьи Богданова:

Тиняков печатался и в брюсовских «Весах», и в «Аполлоне», и в других журналах. Он издал три сборника стихов и несколько книг литературно-критических статей, в частности «О значении искусства» (1920). Но имя его окружено глухим молчанием и в дореволюционной, и в эмигрантской прессе. Нет его в литературных энциклопедиях и справочниках. И лишь совсем недавно Евг. Евтушенко включил три его стихотворения в антологию «Строфы века» (1995). Но этого явно недостаточно для восстановления справедливости.

Позвольте восстановить справедливость! – возражает Елисеев. – Во-первых, у Тинякова издано не несколько сборников литературно-критических статей, а четыре брошюрки (брошюрка из них, строго говоря, одна. – *Р.С.*), во-вторых, одна из этих брошюрок называется «О значении искусств» (а не «искусства») и представляет собой восьмистраничный «рассказ для ликбеза» про то, как возникло и развивалось искусство; в-третьих, ничего себе – «глухое молчание»! Об авторе трех тощеньких поэтических сборников и четырех брошюрок вспоминали: В.Ходасевич в очерках «Брюсов», «Диск», «Неудачники», Георгий Иванов в «Петербургских зимах», М.Зощенко в повести «Перед восходом солнца». В 1993 году на киностудии «Ленфильм» об этом изгое собирались ставить фильм под названием «Человек без левой щеки». И – наконец! – фрагмент работы В.Варжапетяна, напечатанный в 1992 году в «Литературном обозрении». Человек, который собрался

писать о Тинякове, просто не может обойтись без этой работы. В ней – переписка Тинякова с Б.Садовским, А.Блоком, И.Рукавишниковым, А.Ремизовым. «Спасаящий от непростительного забвения» поэта исследователь забыл (или не знал?), что poeta уже один раз «спасали»...

Вот справедливое замечание Елисеева:

Главное дело поэта – стихи. «Спасаящий от забвения» poeta прежде всего обращается к его текстам. Удивительно! – однако в статье В.Богданова нет ни одной ссылки на поэтические сборники Тинякова. Ни одной! Ссылки даны на собрания сочинений Зощенко, Г.Иванова, на книгу Ходасевича, на произведения Толстого, Достоевского, Варфоломея Зайцева, Чернышевского и Добролюбова... Позвольте... А где же сам «спасаемый от непростительного забвения»?

Стоило бы процитировать одну строфу из тиняковской «Весны» (в книжке «Треугольник», 1922): «Стали бабьи голоса / Переливной и страстнее, / Стали выше небеса / И темней в садах аллеи», – чтобы услышать источник бунинского названия «Темные аллеи» и уже хотя бы этим «спасти от забвения».

Стоило бы процитировать поэтическое кредо Тинякова, чтобы разобраться с его «цинизмом»: «Мне уже не страшно беззаконье, / Каждый звук равно во мне звучит; / Хрюкнет ли свинья в хлеву спросонья, / Лебедь ли пред смертью закричит», – чтобы расслышать странно преломленный тютчевский пантеизм («час тоски невыразимой – всё во мне и я во всем»).

Ближе к финалу своей статьи Никита Елисеев пишет о том, ради чего, видимо, решил ответить В.Богданову, – противопоставляет *цинизм* Тинякова *цинизму* советских писателей того времени:

Встает вопрос: кто ради «сладкой и вкусной пищи» (уж во всяком случае не ради конины и гнилой трески) вылизал «пятки врагу» – Тиняков, вставший с протянутой рукой на углу Литейного и Невского, или ученики расстрелянного Гумилева, ставшие советскими классиками? <...>

Современники Тинякова, вырвавшиеся из ада Гражданской войны, хотели хорошо есть, спокойно спать – об этом и написал Тиняков. Цинизм? Если и цинизм, то в философическом, античном смысле. Цинизм Диогена, Антисфена, цинизм безумного короля Лира почетен, а не позорен. Впрочем, если человек не признается в том, что ему нужна

«сладкая и вкусная пища», а пишет про то, что он – «сын трудового народа» или что-то в этом роде, – это тоже цинизм. Но много хуже. Циничнее. <...>

Никакой не Тиняков (нищий, маргинал, неудачник), а Катаев (классик, остроумец, циник, богач) – вот кто живое воплощение парадокса «гений и злодейство». О нем и надо было писать статью под названием «Все ли дозволено гению?»

Тиняков – что ж. Нищий.

Нищему – все дозволено, —
заключает Елисеев.

* * *

После выхода в 1998 году в издательстве «Водолей» книги, где были собраны все доступные Николаю Богомолу стихотворения Тинякова (ему же принадлежат предисловие и обстоятельные комментарии), а тем более после ее переиздания в 2002-м чуть ли не вереницей пошли вполне научные статьи, сообщения, доклады о жизни и творчестве нашего героя.

Сотрудница Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева Е.А.Казеева опубликовала в последние годы несколько филологических работ о произведениях Тинякова. Вот названия трех из них: «„Эдип“ А.И.Тинякова (Одинокого): опыт анализа стихотворения», «Художественный мир поэмы А.И.Тинякова „Разлука“», «Античность в книге А.И.Тинякова „Navis nigra“».

Приведу начало уже упоминаемой мной статьи Глеба Морева «Нет литературы и никому она не нужна», которая, по моему мнению, становится всё более насущной. Но здесь прошу обратить внимание на стиль, ритмику. Чем не начало романа?

28 марта 1930 года в Ленинграде, на углу Литейного проспекта, уже двенадцать лет как носившего имя большевика Володарского, и Пантелеймоновской улицы, семь лет именовавшейся улицей декабриста Пестеля, у входа в бывший книжный кооператив «Колос» сидел высокий 50-летний на вид человек с воспаленным красным лицом, длинными седыми волосами и бородой. В руках у него была жестянка с монетами. Завидев приближающихся к нему граждан «приличного вида», человек вскакивал, протягивал к ним жестянку и требовательно просил подаяния. Редко кто кидал в его коробку мелочь. Вслед безучастно проходящим неслись ругательства.

Быстро шедший мелкими шажками по Пантелеймоновской небольшого роста мужчина в потертом пальто и стоптанных башмаках, поравнявшись с нищим, остановился и, перебросившись с ним парой

слов, протянул несколько монет. Расплывшись в беззубой улыбке и благодарно кланяясь, тот быстро спрятал полученное в карман. Вечером, пройдя по Литейному два квартала и вернувшись домой, в коммуналку на улице Жуковского, нищий записал в своем дневнике: «Сегодня на Лит<ейном> впервые за мою „практику“ мне подал М.А.Кузмин». И приписал в скобках – «20 к<опеек>». Нищего звали Александр Иванович Тиняков.

Очень любопытна статья Владимира Емельянова «Знал ли Александр Иванович халдейский язык? (Об источниках стихотворения А.Тинякова „Тукультипалешарра!“)»^[73].

Сначала стихотворение, о котором идет речь. Оно вошло в его первую книгу.

О,			Тукультипалешарра!
Сын		губительной	Иштар,
Блеск		багряного	пожара,
Властелин		жестоких	чар!

Как	вулкан		свирепо	мечет
Тучи	пепла,		глыбы	лав,
Так	людей	на	поле	сечи
Ты	бросал,		войны	взалкав.

Ты	карал	их,	ты	разил	их,
Щедро	сыпал		труп	на	труп,
Пировал		на	их		могилах
И	точил	свой	львиный		зуб.

Двадцать	пять	твердынь	разрушив
Во	враждебной	Курхиэ,	—
Ты	смирил	навеки	души
В	обезбоженной		земле.

Страны		дальние	Наири
Троекратно			покорив,
Над	руинами	в	порфире
Стал	ты,	грозен	и красив.

Отдаленным			поколениям
Буквы,	острые,	как	нож,
О	тебе	поют	и пеньем
Будят	в	сонных	душах дрожь.

О,		Тукультипалешарра!
----	--	--------------------

Славя		блеск		твоих		побед,
Шлю		я		грозному		удару
Эхо		слабое		в		ответ!
Внук		Мутаккильнуску				гневный!
Сын		губительной				Иштар!
Не	отринь	мой	стих	напевный		—
Вечной		славе	скромный			дар!

24 января 1912 г. Пирожково

Далее выдержки из статьи Владимира Емельянова.

Стихотворение это не может не привлечь ассириолога узнаваемыми образами и строками из большого цилиндра ассирийского царя Тиглатпаласара I (1115–1077 гг. до н. э.), ставшего первым текстом, адекватно прочтенным дешифровщиками аккадской клинописи <...>. Надпись Тиглатпаласара I никогда не переводилась полностью на русский язык (фрагменты см. Дьяконов, 1951, с. 270–278). Тем удивительнее читать стихотворение второстепенного поэта Серебряного века, цитирующего довольно близко к тексту некоторые ее фрагменты. Неизбежно возникает вопрос об источниках стихотворения и о степени близости автора к клинописному оригиналу.

Для такого странного вопроса – знал ли поэт клинопись и аккадский язык – у нас есть все основания. Дело в том, что Георгий Иванов в своих мемуарах 1920-х гг. дважды дает прямое указание на этот факт. В рассказе «Александр Иванович» Тиняков признается Иванову: «Я по-французски тогда не понимал, а жаль. Потом уже не то что по-французски – по-халдейски обучился, но, конечно, без всякого толку». <...> А в рассказе «Человек в рединготе» есть такая любопытная сценка (в квадратных скобках дается версия первого варианта^[74], где упоминается данное стихотворение):

«<...> [Но вот он снова стал читать и, услышав голос, нельзя было сомневаться. Он, конечно. Читал он какую-то благопристойную модернистскую чушь, стилизованное что-то: „О Тукультипалишера, / О царь царей, о свет морей...“]

И эстетической благонравной публике „Физы“ нравилось, по-видимому, – „высокий стиль“ здесь особенно ценили.

– Кто это? – спросил я у фон А., того самого камер-юнкера, в чьей поэме героя звали Физой.

Фон А., лощеный молодой человек с моноклем и пробором, посмотрел на меня с удивлением.

– Как? Вы не знаете? Восходящая звезда. Тураев в восторге. Бодуэн де Куртене без ума. Удивительная эрудиция, редкая разносторонность. Его исследования о елизаветинцах...

Он назвал мне фамилию, которую я мельком слышал как имя подающего надежды молодого ученого. Вот уж не ожидал.

– Кажется, он скандалист какой-то? Из распутинского окружения?

Фон А. замахал руками.

– Какой вздор. Кто вам сказал? Ученейший человек, э... э... э... светлая голова. Мы специально его пригласили в будущую субботу. Он нам прочтет доклад об ассирийских мифах – он ведь знаток э... э... э... и ассириологии. Удивительная разносторонность. И откуда вы взяли, что он распутинец? Напротив, он кажется, э... э... э... в связи с революционерами».

Автор статьи пытается выяснить, знал ли Тиняков ассирийский язык. С одной стороны, Александр Иванович вроде бы сам дает ответ в комментариях к стихотворению, перечисляя источники, из которых он почерпнул сюжет, имена персонажей, географические названия.

«Мы видим, – констатирует Владимир Емельянов, – что источниками вдохновения для поэта являются всего две научно-популярных книги на русском языке – Масперо и в меньшей степени Рагозина (литературу мог подсказать и Брюсов после первой неудачной попытки автора прославить ассирийского царя в 1907–1910 гг.). Ни о каком знании не только клинописи, но хотя бы европейских изданий речь не идет».

В стихотворении Тинякова есть переключки, а то и заимствования из того же Брюсова, Бальмонта и его книги «Зовы древности», изданной в 1908 году.

Тщательно изучая текст стихотворения, автор статьи приходит к выводу:

Нет никакого сомнения, что Тиняков не понимал и того, что прочел в книгах Рагозиной и Масперо. <...> ...что Тиняков считал клинописные словесно-слоговые знаки буквами, а значит – не только не умел их читать, но не имел даже первичной информации об их природе. Иначе он написал бы «знаки, острые, как нож», или что-то подобное. При этом сами клинописные знаки он, несомненно, где-то видел <...> вероятно, в каких-нибудь журналах.

С другой стороны...

Мимо ассириолога не могут пройти два мелких текстологических факта. Во-первых, в стихотворении и в комментарии дед Тукультипалешарры назван Мутакильнуску, в то время как у Масперо и Рагозиной он Мутакилнуску. Тиняков откуда-то знал о палатализации в семитских языках! Во-вторых, в комментарии отец

царя назван Ашшурришиши (более правильно Ашшуррешиши, но в то время так еще не читали), в то время как у Масперо и Рагозиной он Ассуррисиси. Тиняков знал правильное чтение последнего знака IGI как šī, а не si! Откуда же такое хорошее знание аккадской филологии у человека, не знавшего, как устроена клинопись? Полагаю, что поэт не открыл всех русскоязычных источников своего стихотворения. В первом случае источником могла быть книга Ф.Гоммеля «История Древнего Востока» (СПб., 1905). Там дед царя назван именно Мутакильнуску (с. 88). Впрочем, отец назван по-старому – Ашшуррисиси. И это означает, что какие-то дополнительные русскоязычные источники, подсказавшие поэту на стадии комментария верное чтение имени царя, нам по-прежнему не известны.

Так что и здесь с Александром Ивановичем не всё так однозначно.

* * *

В журнале «Литература» можно найти статью Олега Лекманова^[75] о том, как Тиняков пострадал из-за своего поэтического псевдонима. Позволю себе привести эту небольшую, увлекательную работу с небольшими сокращениями.

настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Лекмановым Олегом Андершановичем либо касается деятельности иностранного агента Лекманова Олега Андершановича.

Стало уже общим местом в разговорах о житнетворчестве символистов цитировать проницательное суждение Владислава Ходасевича: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной <...>. Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства». <...>

Чтобы рабски не копировать символистов, каждому из модернистов третьей волны приходилось искать свой собственный вариант поведенческой стратегии. Александр Иванович Тиняков (1886–1934) выбрал для себя утрированное, до шутовства доведенное, следование образу поэта-неудачника, поэта-отщепенца. <...>

Увы, приходится признать, что большинство горьких упреков было Александром Ивановичем вполне заслужено, и что в большинстве своих неудач ему оставалось винить не кого-нибудь, а самого себя.

Однако Тинякову не везло и в тех редких случаях, когда, казалось бы, судьба первоначально благоволила к нему и когда он не прикладывал

никаких особых усилий для того, чтобы быть оплеванным и осмеянным. Такова, например, отчасти комическая история, приключившаяся с поэтом в популярном петербургском ежемесячнике «Новый журнал для всех». А виной всему стал вроде бы красивый и звучный, многолетний псевдоним Тинякова – «Одинокый».

Когда, в июне 1913 года, вместо поэта-акмеиста Владимира Нарбута, редактором-издателем «Нового журнала для всех» неожиданно стал одиознейший деятель «Союза русского народа» Александр Гарязин, все порядочные литераторы перестали там печататься. Все, но не Тиняков, который, по обыкновению, бравировал своей беспринципностью <...>.

Нужно сказать, что за отсутствием серьезных конкурентов дела у Александра Тинякова в «Новом журнале для всех» шли на удивление хорошо. Он преуспевал во всех жанрах <...>.

И все шло бы чудесно, если бы во 2-м номере «Нового журнала для всех» не появилось душещипательное четырехстрочное стихотворение с соответствующим заглавием – «Олечке»:

«Замолчала наша веселая птица, / Заснула навеки наша маленькая детка... / Еще недавно все щебетала синичка / И наша девочка плакала так редко. // Еще так недавно были так быстры ее ножки / И сзади болтались две смешные косички... / А теперь опустели в саду дорожки / И не поют больше песен птички. // Умерла наша маленькая принцесса, / Засыпаны землею ее радостные глазки... / Словно пришел злой волшебник из леса / И унес нашу девочку, как в сказке. // Нет, всякой сказки жизнь много страшнее / В сказке все лучше, чем бывает на свете / Но нет ничего ужасней и больнее, / Когда умирают маленькие дети».

Для Александра Тинякова самым печальным в этом горестном стихотворении стало то, что его автор (авторша?) счел (сочла?) необходимым подписать свой опус псевдонимом «Одинокый». То есть – как это – «Одинокый»? Но ведь всем известно, что «Одинокый» это он – Тиняков. Да к тому же он еще и сотрудничает в «Новом журнале для всех». Что коллеги-литераторы подумают? А может быть (что еще хуже), они вовсе не обратят внимания на очередную неудачу Александра Ивановича? И вот, в 4-м номере журнала за 1914 год один «Одинокый» помещает возмущенное письмо редактору, в котором он отрешивается от другого «Одинокого»:

Милостивый Государь г. редактор!

Будьте любезны поместить на страницах Вашего журнала нижеследующее:

С 1903-го по 1910-й год я подписывал мои произведения, появлявшиеся в печати, псевдонимом «Одинокый», но с тех пор этот псевдоним оставлен мною и стихотворение «Олечке», напечатанное во 2-м № «Нов<ого> Журн<ала> для всех» за 1914 г., принадлежит не мне, а неизвестному автору.

С уважением Александр Тиняков

25 февраля 1914 г. Петербург

Остается сообщить, что более произведения Тинякова в «Новом журнале для всех» не появлялись. Как, впрочем, и того таинственного плакальщика, который попытался покуситься на одиночество Александра Ивановича.

А и с чего, спрашивается, было расстраиваться, да права качать? Ведь, согласно известному словарю псевдонимов Масанова, в различных газетах и журналах, не считая Тинякова, публиковались девятнадцать «Одиноких». И плюс одна «Одинокая».

* * *

Но вернусь к беллетристике.

В 2010 году в издательстве «ПРОЗАиК» вышел роман Дмитрия Быкова* «Остромов, или Ученик чародея». В нем предостаточно колоритных персонажей, да это и понятно, – описывая Ленинград середины двадцатых годов, без таковых не обойтись: еще не так активно очищают бывшую столицу империи от *бывших*, но *бывшие*, уже распродав фамильное серебро, стремительно люмпенизируются или создают хитроумные комбинации, чтобы выжить в изменившемся городе, изменившемся мире...

Самой яркой фигурой романа, на мой взгляд, является не псевдоcharодей Остромов, не искренне поверивший псевдоcharодею, чистый душой Даня Галицкий, не честолюбивый, но бездарный журналист Кугельский, а некто Одинокий, не уступающий фактурно ни злодеям Достоевского, ни пикулевскому Гришке Распутину. Злодей стопроцентный, причем умный, хитрый, беспросветно циничный. Вот портрет:

настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Быковым Дмитрием Львовичем либо касается деятельности иностранного агента Быкова Дмитрия Львовича.

Это был невероятно противный старец, мысль о котором навсегда соединилась у Дани с тошнотой, – но если б Даню даже не тошнило и был он по-утреннему свеж, как сорок братьев-физкультурников, эта одутловатая рожа, неопрятная борода и наплывавший от старца необъяснимый запах сырого мяса внушили бы ему отвращение к человечеству. Это было явление с той стороны, с исподу, не из подполья даже, а из Зазеркалья. Бывают люди – войдут, и хоть беги. Всё в нем было нелюдским, и весь он был заряжен ненавистью к людскому... <...>

Одинокий был такая чистая и беспримесная гадина, такая мертвая смерть, что душонка Кугельского перед ним скукоживалась. Но выгнать Одинокого было никак нельзя – он был таран, стенобитное орудие на пути к славе; его руками Кугельский надеялся передушить всех, кто мешал, включая далекого Пруста. Одинокий был его щит и мортира, танк и окоп, и вдобавок его подчиненный. Кугельский не мог без Одинокого и потому со стыдом выслушивал, как тот смачно, наслаждаясь, говорит ему всё новые мерзости.

У персонажей «Остромова...» немало реальных прототипов. Одни раскрыты на обложке, других читатели узнали сами; на прототип Одинокого указал сам автор в одном из интервью: «Описанный в романе персонаж – литератор Одинокий – это вполне реальный Александр Тиняков, хоть и безобразный человек, но талантливый поэт». Сергей Костырко, напомню, назвал Тинякова «зоологическим антисемитом и клиническим мизантропом».

В романе Дмитрия Быкова* Одинокий зоологическим антисемитизмом не блистает, клинической мизантропией не исходит, но от этого не становится лучше. Скорее, наоборот – для антисемитизма и мизантропии нужно хоть какое-то мужество, а Одинокий просто гаденыш, когда надо наглый, когда надо трусливый...

настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом быковым дмитрием львовичем либо касается деятельности иностранного агента быкова дмитрия львовича.

Одинокого в самом деле никогда не тронут: посадят всех, в том числе вернейших, – а этот, как памятник бессмертной, неприкосновенной низости, образцовый минус, от которого станут отсчитывать всё, будет стоять у себя на Измайловском или где он еще там стоит в центре своего кружка... Он переживет всех и останется, может быть, последним, округлый, нечесаный, страшный, пахнущий сырым мясом. Время благоприятствовало теперь ему, ибо всё остальное не вышло, а Одинокому была самая пора.

Последний период жизни Александра Тинякова был восстановлен задолго до выхода «Остромова...» усилиями Вардвана Варжапетяна, Николая Богомолова, Глеба Морева и других литературоведов. Благодаря этому его фигура предстаёт совершенно в ином свете и с Одиноким, созданным Дмитрием Быковым*, имеет очень и очень мало общего.

Дмитрий Быков* наверняка знал, что реальный Тиняков-Одиноким был арестован и три года провел в «концлагере» и ссылке, так зачем нужно было давать персонажу, которого «никогда не тронут», имя-псевдоним Александра Ивановича?

Пусть Тиняков и «безобразный человек», но и он заслуживает того, чтобы его биографию не перевирали, причем в ключевом ее моменте.

Хочется попросить: пощадите исторических персонажей.

* * *

Впрочем, в том, что Тинякова зачастую делают фигурой омерзительной, есть и его вина-заслуга. И многими стихотворениями он создавал такой образ, и откровенностями в письмах, и самим так называемым жизнестроительством.

Может быть, и пил он не больше многих своих коллег и собратьев, но вот предстает самым пившим поэтом Серебряного века, а то и всех веков. Многие литераторы из-за алкоголизма лежали в психиатрических больницах, но создается впечатление, что Тиняков буквально жил в них годами: только выйдет, напьется, побуянит, и его туда возвращают.

Но вот одна картинка из будней кафе «Бродячая собака». Читаем в письме поэта Михаила Долинова Борису Садовскому от 10 ноября 1913 года:

...Тиняков повздорил с Собакой и там не бывает. С ним опять неладно: пьет мертвую и пишет письма завещательного характера. <...> В Собаку я решил более не ходить <...> там вечные скандалы. Третьего дня чествовали Бальмонта, к<оторый> приехал «на гастроли» к нам. Был Сологуб, Гумилев, и много прочих. К утру Бальмонт напился пьян, сел подле Ахматовой и стал с нею о чем-то говорить. В это время к нему подошел Морозов (сын Пушкинианца) и стал говорить комплименты. Бальмонт с перепою не разобрал в чем дело и заорал: Убрать эту рожу! Тогда Морозов обозлился, схватил стакан с вином и швырнул в К.Д. Этот вскочил, но был сбит с ног Морозовым. Пошла драка. Ахматова бьется в истерике. Гумилев стоит в стороне, а все прочие избивают Морозова. Драка была убийственная. Все были пьяны и били без разбору друг дружку смертным боем...

Дрались Бальмонт, балетный критик Юрий Петрович Морозов, *все были пьяны*, но перед ними – Тиняков, который уже *повздорил* и пьет *мертвую*...

Немалую роль в его, как сейчас говорят, имидже алкоголика сыграли стихи, в которых про водку, вино, виски. Куртуазных строк среди них негусто («Весел вечер за бутылкой / Искрометного вина, / Полон я

любовью пылкой, / А Беккина уж пьяна»; «Она пила, как воду, виски, / Курила много папирос, / Болтала что-то по-английски / И морщила забавно нос»), в основном – горькие, если даже герою их хочется праздника.

Последний	пятак	на	прилавок!
Гуляй,	не	кручинься,	душа!
Не	мало	проиграно	ставок,
А	жизнь	во	хмелю хороша!

Укачивай		черные	думы,
Баюкай		тоску,	алкоголь,
Под	уличный	грохот	и шумы
Топи,	заливай	мою	боль!

Твои		безотрадные	ласки
Знакомы...		Знакомы	давно!
Очнусь	я	назавтра	в участке
И	будет	как	нынче – темно.

Твое		горевое	веселье
Разбитую		душу	прожжет,
А	завтра	больное	похмелье
Похабную		песню	споеет!

А вот в этом уже и праздника не хочется:

Я	в	пивной.	За	окном	колыхается	улица,
Распевает		трамвай,		как	гигантский	смычок.
За	соседним	столом		захмелел	и	сутулится
Краснолицый,		в	потертом	пальто		старичок.

Я	курю	и	смотрю	беззаботными	взорами
В		озаренно-прекрасную		пропасть	окна:
Там	пролетки	так	радостно	дышат	рессорами,
Там	лазурь	над	бульваром,	как	детство, ясна!
И	как	струйка	дымка,	голубая,	беспечная,
Уношусь	я	душой	за	потоком	людским,
И	столица,	гранитная,	тяжкая,	вечная	—
Расплывается,		как	голубеющий		дым.

Свою бедность (задолго до ухода в нищие), свое одиночество Александр Иванович тоже выпячивал, демонстрировал при первой возможности. И в письмах, и в стихах, и в дошедших до нас страницах дневника.

«...И сюртук, и брюки, и пальто я уже заложил. Поистине, я обречен на собачье существование!»; «Я уверен, что одиночество – из самых страшных несчастий, которые могут постигнуть человека. И в кабаки, и в пивные я бегу именно от этого бича, от этого ужаса»; «Очень и очень прошу Вас написать мне; я же, быть может, отвечу не сразу, п.ч. мне не на что купить марку»; «Б.м., Вы позволите мне осенью сообщить Вам мой адрес? Знаю, что я – навязчив и что моя просьба неделикатна, но один я, один, совсем один!»

Безысходней	гроба	мое	одиночество	—
(До жизни,	и в жизни,	и в	смерти	самой!) —
И нет	ни единого	в	небе	пророчества,
Что новое	солнце	взойдет	надо	мною.

Ты не дал мне,	Боже,	любви	человеческой,
И вот без нее	не могу	я понять	
Ни воли Твоей,	и ни ласки	Отеческой,	
И мне не желанна	Твоя	благодать.	
Любовь Твоя,	Господи,	сердца не радует,	
И ты мне навеки,	навек	чужой —	
И в адские пропасти	медленно	падает	
Душа, не согретая	лаской	земной.	

Часто жаловался на то, что отец выгнал его из дому, не помогает, не принимает... Но вот читаем в письме Садовскому от 27 мая 1914 года: «Дома встретил праздничную суету и множество гостей; отец вторые сутки не выходит из-за зеленого стола; предлагал и мне денег для игры в железную дорогу^[76]. Но лучше было бы, если бы он дал их мне для поездки по настоящей жел. дороге – куда-нибудь подальше и в новые для меня места».

В том же письме Тиняков планирует: «...Осенью, б.м., пробуду там (в Москве. – Р.С.) некоторое время (Шмаков, Кущуба, дантистка)». Кто такие Шмаков и Кущуба, я установить не смог, но дантистка, уверен, наверняка упоминается здесь именно как зубной врач. Тем более Тиняков оставил нам стихотворение и о том, как ему лечат зубы и какие он при этом испытывает чувства:

Сижу я в кресле,	голову	откинув.
В ее руке	стальной	пинцет
И тонкий	запах	девственных
Вокруг нее	по	комнате
Как будто червь	мне	злобно
	глохнет	челюсть,

Но — сквозь туман и огненную боль —
 Ее движений замечаю прелесть
 И черных кос сверкающую смоль.
 Она — к моим губам приблизив руки, —
 Вонзает в десны мне бесстрастно сталь:
 И сладок мне укол, желанны муки,
 И пытке злой отдать себя не жаль!
 О, если б, крылья тяжкие раскинув,
 Повисла надо мной навек болезнь,
 И я впивал бы аромат жасминов,
 И сердце пело бы признанья песнь!

Герой Тинякова *вступает в половое общение* с проститутками, нищенками, старухами, больными сифилисом, да бог (или черт) знает с кем. В письмах всё тому же Садовскому он не стесняется выражать свое отношение к женщине как таковой:

Я ненавижу и презираю так называемую «женскую личность»; «женский ум» мне противен, женское «я» для меня омерзительно. Единственное, что мне нужно и необходимо, это – женское мясо. Влюбиться я уже не могу, и мне для сожительства совсем не нужна какая-нибудь барышня из общества, которую нужно прельщать чистыми подштанниками и наодеколоненной жопой. Вот здесь, на Васильевском, в Лифляндской кухмистерской есть служанка Мина... Что за мясо! Какие формы! Приобрести бы такую бабу, и можно бы было «отводить душу»... а кто лучше природной кухарки может вести хозяйственную сторону жизни?!

Но тем же Тиняковым написано это стихотворение:

Чрево Твое я блаженно целую,
 Белые бедра Твои охватаю,
 Тайну вселенной у ног Твоих чую, —
 Чую, как дышит во чреве Дитя.

Сильного духом родишь Ты, — Святая,
 Светел и чуден Твой ангельский лик...
 В жутком восторге, дрожа, замирая,
 Чистым лобзаньем к Тебе я приник...

(Впрочем, и здесь не обошлось без *тиняковщины*: в публикации в журнале «Весы» (1907, № 11) это стихотворение, «Свет целования», имело подзаголовок – «Из хлыстовских мотивов».)

И у современников Тинякова, и особенно у тех, кто нынче пишет о нем, часто встречаются слова: автор похабных, порнографических стихов. Похабными и порнографическими можно считать многие тиняковские сочинения – от «Плевочка» до «Радости жизни», но, видимо, имеется в виду именно это:

Настал	июль:	ебутся	пчелы,
Ебутся	в	поле	овода,
Ебутся	с	неграми	монголы
И	с	крепостными	господа.
Лишь	я,	неебаный,	небритый
Дрочил	в	заплеванных	углах,
И	мне	сказал	отец
«Без	ебли	ты	совсем
			зачах!

Пойди,	дурак,	на	дворик	скотный
И	выбери		себе	овцу».
И	вот	вступил	я,	беззаботный
На	путь	к	бесславному	концу.

Я	оседлал	овцу	и	с	жаром
Воткнул	в	манду	ей	свой	хуёк, —
Но	в	жопу	яростным		ударом
Меня	баран	с	овцы		совлек.

Я	пал	в	навоз	и	обосрался,
И	от		обиды		зарыдал...
Коварный			небосклон		смеялся
И	победитель		мой		блеял.

Из переписки со всё тем же Садовским узнаём, что Тиняков писал такие стишки для развлечения Бориса Александровича. Вот, например, из письма к нему от 2 октября 1914 года, к которому было приложено «Настал июль...»: «С удовольствием исполняю Вашу просьбу относительно стихов. Чем богат, тем и рад». А вот от 6 июня 1915-го: «Хотел было переписать несколько похабных вещей, но так как Вы из всего подобного делаете вредное для меня употребление, то испугался и даже оторвал исписанный листок».

Известно, что и Сергей Есенин во время первых своих публичных выступлений исполнял матерные частушки. Многим *питерским литераторам* нравилось.

Тиняков, конечно, видел себя персонажем. Персонажем представления под названием «жизнь». И «жизнеделание», о котором не раз на этих страницах упоминалось, тому подтверждение. А «жизнеделание» творится в расчете на то, что это заметят, запомнят, занесут на скрижали истории.

Александр Иванович почти не оставил так называемой *мемуаристики*. Вполне вероятно, она была, кое-что даже анонсировалось, но сейчас мы имеем два очерка – об Александре Блоке и Валерии Брюсове, – которые имеют одинаковый подзаголовок: «Отрывки из воспоминаний». Может, действительно «отрывки», а может, и главки воспоминаний ненаписанных.

Фрагменты из очерка о Брюсове я уже приводил, теперь вставляю в книгу очерк о Блоке целиком. Опубликован в петроградской газете «Последние новости» ко второй годовщине со дня смерти поэта.

**Памяти А.А. Блока
(Отрывки из воспоминаний)**

Я познакомился с А.А.Блоком вскоре после моего переезда из Москвы в Петербург – 9 октября 1912 г.

Стихи его я знал давно – с 1903 г. и разумеется ценил их высоко. Но восторженного отношения к поэзии Блока у меня тогда не было, и даже по временам бывал я не чужд некоторого недоброжелательства к его творчеству.

Дело в том, что я принадлежал тогда к немногочисленной, разрозненной, но, тем не менее, фанатичной секте «брюсовцев».

Теперь мне странными кажутся те восторги, которые возбуждало в нас творчество Брюсова. Беру те же книги Брюсова, читаю те же его стихи, соглашаюсь, что среди них есть вещи великолепные в техническом отношении, но в общем решительно не согласен признать их созданиями истинной поэзии. То же и относительно личности: припоминаю мои встречи с Брюсовым, его жесты, его «крылатые слова», соглашаюсь, что он – умный, культурный, интересный человек. Но ведь тогда было не то! Для Нины Петровской, для Б.Садовского, для меня и для целого ряда молодых людей, не выступавших в литературе, Брюсов был каким-то полубогом, истинным магом и поэтом **единственным**.

Мне не стыдно признаться в этом теперь, когда Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке рассказал, что и в их среде также царил преклонение перед Брюсовым. Уж если их, – людей и поэтов старшего поколения, притом стоявших **во главе** культурного движения эпохи и, –

как показало время, – превосходивших Брюсова одаренностью, – увлекала и покоряла эта личность, то что же говорить о нас?!

Как бы то ни было, но я, пожалуй, дольше и глубже других переживал это необъяснимое очарование.

А между тем к 1912 году у многих уж наступало отрезвление. И как раз в том небольшом литературном кружке, где я тогда часто бывал, – в кружке московской поэтессы Любви Столицы, – все чаще и все восторженнее упоминалось имя Блока. Мне, как ярому «брюсовцу», это было нестерпимо, я усматривал в этом не то погоню за модой, не то дурной вкус и, во всяком случае измену «великому», «единственному». И невольно раздражение против «пропагандистов» Блока я переносил и на личность самого Блока.

В сентябре месяце 1912 г., выпустив в свет мою первую книгу стихов (у «Грифа»), я переехал в Петербург и в первые же дни по приезде получил письмо от А.М.Ремизова. «Пишу о вас Блоку, Александру Александровичу, – сообщал между прочим Алексей Михайлович, – а вы ему напишите, спросите его, чтобы назначил он вам день и час. Блок в Академию поэтическую вас введет и в цех поэтов, если пожелаете».

Признаюсь, – все это было для меня неожиданно; ни о личном знакомстве с Блоком, ни тем более о «цехе поэтов» я по правде сказать, вовсе и не думал. Но теперь вежливость обязывала меня написать Блоку, что я и сделал. Через день получился такой же вежливый, краткий и точный ответ:

Многоуважаемый
Александр Иванович.

Прошу вас, зайдите ко мне во вторник, 2-го октября, в 3 часа дня.
С совершенным уважением
Александр Блок

И вот я шел 2 октября на Офицерскую без большого желания и без каких бы то ни было ожиданий. «Отчего не познакомиться с известным поэтом? Но что же он даст мне... после Брюсова?» – так, приблизительно, чувствовал я тогда.

Но зато теперь, оглядываясь на все наше знакомство, теперь, когда я уже не услышу больше милого, несколько глуховатого и как бы придушенного голоса Александра Александровича и никогда не увижу его пленительной, чуть-чуть насмешливой и в то же время как бы стыдящейся своей насмешливости, – улыбки, – о, как я благодарен теперь А.М.Ремизову за его непростое посредничество при этом знакомстве!

Знакомство с Блоком внесло в мою жизнь нечто несомненно значительное и столь светлое, что я прямо склонен назвать его счастьем.

О чем я говорил с Блоком во время первого свидания, **передать** решительно не могу, хотя уже в тот же день в моем дневнике появилась восторженная запись о нем. Московское недоброжелательство растаяло сразу и навсегда, и с тех пор начались наши встречи, не частые, но всегда полные глубокого значения для меня.

Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке с сожалением восклицал: «Зачем я не молодой человек Эккерман?» Мне это сожаление кажется бесплодным. Эккерману нечего было бы делать с Блоком, и вообще никаких «Разговоров Блока» появиться в свет не может, как нет их, в сущности, и в воспоминаниях Белого.

Вот несколько записей из моих дневников, сделанных немедленно после встреч с Блоком:

Утром пошел к Блоку; завтракал и просидел почти до 4 часов. Беседу мою с ним передать сейчас не могу: так глубоки и неуловимы для слов были темы нашего разговора (декабрь 1912 г.).

С 3 и почти до 6 часов у Блока. Провел эти часы в огромном и глубоком наслаждении. О чем только мы ни говорили! И говорили, подходя вплотную к ядру и основанию каждого явления, которого касались (июнь 1915 г.).

Часа три провел в интереснейшем разговоре с Блоком (август 1920 г.).

Помню о чем говорили, помню все мои ощущения, помню лицо Блока и всю внешнюю обстановку, но передать буквально его слова, – повторяю, – не в состоянии, в то время как я **с буквальной точностью** могу передать, напр., то, что мне говорил Брюсов в декабре 1903 г., и что – в мае 1910, и что – в ноябре 1912.

Это явление, которое, надеюсь, будет отмечено многими знакомыми Александра Александровича, по моему мнению, лучше всего говорит о необычайном своеобразии и цельности личности Блока. Слова его передавать «своими словами» так же нельзя, как нельзя рассказывать своими словами его стихи. Попробуйте сделать это и, кроме жалкой нелепости, ничего не получится. Это так потому, что его стихи как стихи Фета, Влад. Соловьева, Тютчева и всех истинных поэтов, были явлением глубоко органическим, неповторяемым, чудесным в своей цельности.

Такими же были и все его слова.

Само собою разумеется, что они были при этом глубоко и **сознательно** искренними.

Многоуважаемый Александр Иванович!

Приходите, пожалуйста, 11 декабря в те часы, которые назначили; буду рад, если смогу доставить вам какое-нибудь удовольствие. Жму вашу руку.

Александр Блок

Сколько значительных и содержательных писем от известных и знаменитых писателей хранится у меня, а между тем редкое из них перечитываю я с такой радостью, как это простое, коротенькое письмецо, ибо я знаю теперь, что Блок не говорил лживых слов и действительно был рад «доставить мне удовольствие» (я просил его тогда написать мне в альбом).

Искренность и цельность Александра Александровича, а также то, что он был во истину крупным человеком, я вполне оценил, встречаясь с ним в обществе самых разных людей: на скромной вечеринке у Ремизова, на редакционном собрании в «Русской Молве», на пышном вечере «с знаменитостями» у Ф.Сологуба. Решительно со всеми Блок был одинаков; и он был чуть ли не единственный человек в литературном мире, обладавший этим драгоценным, этим высоким свойством. С Леонидом Андреевым и Федором Сологубом он говорил так же серьезно, внешне тихо и внутренне твердо, как и со мной, младшим, неизвестным, впоследствии – гонимым.

Вот это то качество и привязывало к Блоку и заставляло ценить его слова и уважать его мнение, даже тогда, когда оно совсем расходилось с вашим мнением. Скажу больше: даже те вещи, которые от другого принял бы с обидой, со злобой, от Александра Александровича принимались мною уважительно, и никогда не оставалось потом недоброжелательства к нему.

Вот, например, уж, кажется, чего обиднее, когда человеку, пишущему стихи, говорят, что эти стихи – не хороши. А Блок говорил мне именно это. И не то чтобы про отдельные стихи, – нет! – вообще про мое творчество.

И вот что получилось в результате: Бальмонт написал о моей книге хвалительный фельетон под заглавием «Молодой талант»; Валерий Брюсов на одной из своих книг надписал: «такому-то в знак любви к его поэзии»; Сологуб одно время очень хвалил мои стихи и печатал их в своем журнале («Дневники писателей»); а Блок, в начале знакомства, просто сказал, что мои стихи ему не нравятся и позже – (в 1915 г.) – определил дело точнее и, как бы вслух раздумывая и решая,

полувопросительно сказал: «так что-то... вроде, как в свое время у Никитина».

И как ни лестно и ни приятно было бы мне согласиться с теми, кто меня хвалил, а все же думаю, что Блок был ближе к истине и правильнее всех определил то место, которое я мог бы занять в истории поэзии.

К сожалению, я не имею возможности рассказать сейчас об отношении Блока ко мне в 1916 г. и не могу привести его замечательного письма ко мне от 19 апреля 1916 г., – письма, которое, несомненно, будет иметь значение для будущих исследователей личности и мировоззрения Блока (по всей видимости, имеется в виду то письмо об отношении Блока к делу Бейлиса. – *Р.С.*). Отмечу лишь один эпизод.

23 апреля 1916 г., после долгой беседы на политические и общественные темы, я прочитал Блоку мою новую статью. Александр Александрович признался, что он еще нигде не встречал такого взгляда на происхождение искусства, как у меня, и что ему, как художнику, больно было бы согласиться с той расценкой поэтического творчества, которую проводил я.

Я, – (совершенно не отталкиваясь от теории Ц.Ломброзо о «гении и помешательстве»), – путем анализа первобытных, палеолитических произведений искусства приходил к мысли, что первоисточником художественного творчества у людей был не «преизбыток», а некий недостаток жизненных сил. Мне казалось естественным, что первого мамонта на стене пещеры нарисовал не здоровый охотник, всецело занятый процессом охоты и подготовлениями к ней, а – или больной, или ослабевший старик, которые, не имея сил принимать активного участия в тогдашних общественных делах, старались возместить это тем, что рисовали сцены, дразнившие их воображение. На такой же почве возникли эротические женские статуэтки из Брассампуи, и несомненно, первые любовные жалобы; т. е. создали их неудачники, не пользовавшиеся женской любовью реально. Отсюда я и объяснял тот дух уединения, «демонизма» и некой темной горечи, который проникает чуть ли не все произведения мирового искусства.

Блок почувствовал глубину намечавшегося у меня захвата мысли, и я видел, что он содрогнулся. Здесь я подошел, быть может, к самой затаенной и самой мучительной для него стороне его духа.

Ведь и в нем, – как в каждом крупном художнике, – жило, «гнездилося», это демоническое начало. Отличие Блока от великого множества других состояло в том, что он неустанно боролся с этим началом и в своем творчестве, и, быть может, еще упорнее в своей жизни. Вот почему и светозарность, свойственная Блоку, была не пресной, монотонно-розовой, не знающей бурь, – светозарностью. Свет и добро, излучавшиеся его личностью, были плодом борьбы и победы!

Болотные чертенята и всевозможные уродцы, жестокие женщины с бичами и безумцы, и даже пошляки в котелках, мелькающие в его произведениях, не были только плодом наблюдения внешнего мира; и они зарождались и вынашивались в его огромной душе, в его всеотзывчивом сердце.

Но великая его заслуга перед поэзией и человечеством в том, что он никогда, ни на миг, не сказал этим порождениям тьмы и хаоса безусловного «да!».

Эта непрерывная борьба с демоническим началом в себе, эти могучие порывания к образу «Прекрасной Дамы», это неустанное боевое утверждение креста и розы над всеми «балаганчиками» и чертополохами жизни, – были истинным подвигом, и подвиг этот был во истину велик!

Сколько раз подслеповатые люди бросали Блоку упрек в «декадентстве», в «безобщественности», в «индивидуализме»... Теперь можно определить цену этих упреков, – теперь можно сказать, что все творчество и вся жизнь Блока были наилучшим и наивысшим подвигом, имевшим не личное только, а и большое общественное значение, ибо его творчество и жизнь были борьбой за добро, любовью к красоте и верой в свет...

Не прошло и года после моей встречи с поэтом весной 1916 г., как разразились великие события, перевернувшие всю жизнь вверх дном и многое изменившие в моих взглядах.

Здесь не место говорить подробно об эволюции моих политических воззрений, укажу лишь, что свойственный мне демократический, «мужицкий» дух и мое исконное недоверие к интеллигенции сделали для меня Октябрьскую революцию вполне приемлемой, и уже с апреля 1918 г. я начал сотрудничать в советской печати.

Жил я тогда в провинции, сначала в Орле, потом – в Казани и жадно ловил всякие литературные новости, доходившие в «глубину России» нередко с большим опозданием.

Не без радостного чувства прочитал я в свое время «Двенадцать» Блока, ибо любимый мною поэт и уважаемый человек хотя и не примыкал в этой поэме к пролетарской революции безусловно, но и не становился в ряды ее тупых и слепых врагов. Еще большее внутреннее удовлетворение получил я, познакомившись с книгой статей Блока – «Россия и интеллигенция». Обеим этим книгам я посвятил заметки, напечатанные в газетах, а весной 1920 г., выпуская в Казани собрание моих литературных статей, я включил туда обе эти заметки.

В августе месяце 1920 г. я получил возможность побывать в Москве и Петербурге – и 20 августа, не без тревоги, подходил к квартире Блока. «Кто знает, – думал я, – как отнесется Блок к моему перевороту?

Поймет ли он, что среди побуждений, заставляющих меня принимать пролетарскую революцию, есть побуждения вполне чистые и глубоко разумные?»

Тем тревожнее были мои сомнения, что я и сам не все оправдывал в моих газетных выступлениях.

Но прием со стороны Александра Александровича ждал меня самый радушный и вновь моя встреча с ним закончилась глубоким, задушевым, непередаваемым разговором.

Я попал к Блоку в обеденный час, застал у него в гостях москвичку – Надежду Александровну Коган и познакомился с матерью поэта, А.А.Кублицкой-Пиоттух.

За обедом и чаем шел внешний, шутливый разговор и казалось, что Александр Александрович по-прежнему весел и спокоен. Только сильно исхудал он и загорел...

Но когда мы с ним перешли в кабинет и заговорили о революции, то сразу стало ясно, что переживания его мучительны и тяжки. Он и тогда не отрицал, что революция – явление огромное, но он уже не считал ее явление безусловно положительным и склонен был признать ошибкой ту свою веру в нее, какая веяла на страницах «12-ти» и книги об интеллигенции. И так много теней успело налечь за 3 года на революцию, так много косных черт проявили народные, крестьянские массы (чего не отрицали и сами коммунисты), что и у меня не находилось много слов для опровержения пессимистических выводов Блока. Правда, я отстаивал неизбежность всеевропейского социального переворота, признавал его желательным и утверждал, что «механическую» буржуазную цивилизацию жалеть нечего, – но и я тогда уже не мог признать безусловно светлыми те силы, которые разрушали.

В конце концов мы оба пришли к грустному выводу, что сейчас – темно и никто ничего не знает. Вспомнили об Андрее Белом. «Вот он, быть может, кое-что знает о будущем», – заметил я.

«Да, он, быть может, знает», – подтвердил Александр Александрович, напирая на последнее слово.

Радостно мне было после этой встречи от сознания, что Ал. Ал., в общем, понял меня и не осудил, – но и грустно, и тревожно за него. Еще в 1915 г., среди разговора со мной, он однажды неожиданно и не в связи с темой сказал: «А знаете, Александр Иванович, теперь все как-то не то... не те зори, не такие закаты, какие были в 1905 г.». Это было сказано с таким глубоким чувством, с такой убежденностью, что я невольно в ту минуту согласился с ним, хотя после и объяснял это личными его ощущениями.

Но в 1920 г. и мне уже по временам казалось, что действительно «зори» не только «не те», а уже и совсем их нет, и не будет больше ни закатов, ни рассветов.

Для Ал. Ал. они явно кончились, и ничуть не удивили меня его слова о том, что он «ничего не пишет и писать не собирается». Станным и неестественным было бы обратное, т. е. если бы художник с таким чутким сердцем и с такой чувствительной душой, как Блок, продолжал

бы творить во дни неслыханного раскола и разрыва в человечестве так же, как всегда...

Последнюю встречу с поэтом судьба подарила мне неожиданно. В апреле 1921 г. я приехал в Петербург из Москвы лишь на несколько дней и зашел к Ал. Ал., чтобы передать ему стихи одной молодой московской поэтессы. Его не было дома и, передав стихи Любови Дмитриевне, я уже возвращался обратно, как вдруг на залитой солнцем Офицерской улице встретил самого Ал. Ал. Помню, что, после первых приветствий, мы сразу заговорили о современной поэзии и ее упадке. Ал. Ал. был настроен мрачно, смотрел на дело безнадежно, и, когда я попытался указать, как на некое все же выдающееся явление, на «Исповедь хулигана» Есенина и кое-что процитировать оттуда, Ал. Ал. встретил мои цитаты ироническим смешком... За эти несколько минут мне стало ясно, что прошлогодние настроения разрослись и укрепились в Блоке... Вместе с ним зашел я на минутку к нему, и никогда не забыть мне этих мгновений, когда я последний раз видел Блока.

Мы с Любовью Дмитриевной стояли в маленькой передней, в которую врывалось откуда-то золотое весеннее солнце, а Ал. Ал. прошел в свой кабинет, чтобы сделать для меня надпись на книге «За гранью прошлых дней». «Хочешь, Саша, я сейчас поставлю самовар?» – спросила Любовь Дмитриевна, – и столько глубокой ласки, столько высокой любви было в ее вопросе, в тоне его, в звуках голоса, что сердце мое невольно вздрогнуло от чувства благодарности к этой женщине, так трепетно и – увы! – так беспомощно старавшейся отвести темную тучу, уже явственно встававшую тогда над головой ее мужа.

Какое-то светлое волшебное заклятие послышалось мне в ее будничном вопросе – и трагедией повеяло сквозь бытовой покров.

Эта последняя апрельская встреча 1921 года и авторская надпись на книге «За гранью прошлых дней» окончательно доказали мне, что никакие мои «перевороты» не заставили Ал. Ал. изменить своего отношения ко мне.

Приведу, в заключение, маленькое письмецо Блока ко мне, касающееся его взглядов на поэзию.

Я послал Ал. Ал. отклик моей статьи о забытом поэте Подолинском, напечатанной в № 1 «Историч. Вестника» за 1916 г., и по обыкновению быстро получил ответ:

17 января 1916 г.

Многоуважаемый Александр Иванович! Спасибо вам за присылку статьи о Подолинском, обрадовавшей меня уже с первого взгляда тем, что вы подходите к поэту не с «пэонической» стороны.

С искренним уважением Ал. Блок

Здесь ясно сказалось отношение Ал. Ал. к модному и, на мой взгляд, весьма печальному и вредному увлечению, охватившему, – с тяжелой

руки Брюсова, – широкие круги нашей литературной молодежи. Как истинный поэт и как крупный человек, – не чуждый мудрости, – Блок ясно понимал, что теоретическое изучение технической стороны поэтических произведений бесплодно **для поэзии** и вряд ли важно и необходимо вообще. Когда же это увлечение стало почти поголовным, приняло у многих формы карикатурные и начало плодить стихи бездарные, то у Ал. Ал. создалось прямо отрицательное отношение к этому явлению и его радовало всякое **живое** слово о поэте...

Снова переехав в Петербург в июне 1921 г., я узнал от А.М.Ремизова, что Блок тяжело болен. Скоро, однако, тот же Алексей Михайлович сообщил мне, что Ал. Ал. поправляется...

И вдруг утром 8 августа слышу: «Блок умер». Как всегда в таких случаях, в первые минуты не верилось. Но в тот же день я пошел на квартиру поэта и сомнений больше не оставалось... И когда я подошел к его смертному одру, поцеловал последним целованием его холодный, желтый лоб и взглянул на его мертвое лицо, то невольно воскресли в мозгу стихи Анны Ахматовой, которые она незадолго перед тем написала мне в альбом:

Как	страшно	изменилось	тело,
Как	рот	измученный	поблек!

Действительно, – смерть изменила тело Блока **страшно!** Лицо вытянулось и потемнело, рот был страдальчески полуоткрыт, небритая борода придавала посмертному облику поэта еще более чуждый вид. Видно было, что Ал. Ал. страдал перед смертью...

В глубоком молчании стояли мы вокруг; тихо утирала слезы Ахматова, прижавшаяся в уголке; и вползала в сердце острая, жгучая жалость к нам, оставшимся, ибо все мы, со смертью Блока, стали беднее и уже ничто, – даже его прекрасные книги, – не заменят для нас его личности, от которой струились потоки очищающего света, исходили могущественные влияния, которые одних, по признанию А.Белого, «динамизировали», а других удерживали от окончательного провала в дебри зла...

...В тихий солнечный день похоронили тело Блока. Дух же его для тех, кто знал поэта лично и для тех, кто любит его книги, – будет жить всегда: и в солнечные дни, и в наши полярные ночи...

Перечитал сейчас и не могу отделаться от ощущения: да, написано с горечью, уважением, но по принципу – «я и Блок». Наверное, ничего

предосудительного, но главный герой здесь всё же автор, а не тот, о ком автор рассказывает.

* * *

В одном из январских (2020 года) эфиров на радиостанции «Эхо Москвы»*, отвечая на вопрос радиослушателя, кого из поэтов Серебряного века он бы назвал самым недооцененным, Дмитрий Быков* ответил: Михаила Савоярова. И, объясняя особенности его творчества, упомянул: «Знаете, немножко это похоже на Тинякова... Но Тиняков настолько омерзительная личность и как исторический герой, и как автор – что мы будем скрываться от этого факта... Тиняков производит впечатление омерзительное, а Савояров – впечатление трагическое...»

Я скопировал кусок о Савоярове и Тинякове с сайта радиостанции и поместил в свой «Фейсбук» со словами: «Дмитрий Львович Быков* снова наехал на Александра Ивановича Тинякова», в надежде спровоцировать автора «Остромова...» на эссе о Тинякове. Многолетнее внимание Быкова*, человека, способного мыслить и изъясняться свежо и нетривиально, к нему очевидно. (Может быть, дело в том, что одним из преподавателей Быкова* в университете был Николай Алексеевич Богомолов?)

Мой пост прокомментировал литературовед из Эстонии Борис Тух: «Тиняков до революции писал черносотенные статьи, а после работал в ЧК, присутствовал при расстреле Гумилева и др. членов никогда не существовавшего „таганцевского заговора“. Кажется, этого достаточно». (Надо понимать, достаточно для «наезда».)

Борису Туху ответил другой литературовед, автор биографии Оруэлла Вячеслав Недошивин: «Борис, для меня ново, что Тиняков (в двадцатых гг. прикидывавшийся нищим – это видела Ахматова) участвовал в расстреле Гумилева. О его расстреле вспоминал поэт Сергей Бобров, и то – со слов знакомого чекиста. Откуда же вы взяли Тинякова? Я, правда, не читал только что вышедшую книгу о Тинякове моего знакомого Вардвана Варжапетяна. Может, там?..»

Так я узнал о книге «Кое-что про Тинякова».

Известию этому я и обрадовался, и... В общем, вместе с радостью возникла и досада. Радостно было, что спустя почти тридцать лет Вардван Варжапетян все же систематизировал, переработал в литературу тот огромный материал, о котором упоминал в повести «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи», и мы получили наверняка не исчерпывающую, но более или менее полную биографию Александра Ивановича, может быть, его письма, рецензии, неизвестные стихи в конце концов.

А досадно стало от того, что не я автор книги о Тинякове.

Почти два десятка лет я собирал документы, относящиеся к этому человеку. Правда, собирал вяло – от случая к случаю. Впрочем, как я уже оговаривался, для написания книги, даже не беллетристической, а

полудокументальной, не нужно много материала. Тиняков дал отличный сюжет: свою жизнь, вернее, судьбу (рождение в богатой, но крестьянской семье, разрыв со средой, символист, либерал, черносотенец, красный агитатор, андеграундный поэт, нищий, владеющий драгоценной библиотекой, монархист, зэк, петербургский интеллигент), а остальное можно нарастить, доверяясь воображению. А теперь, когда документальная книга (а в том, что она документальная, я не сомневался) появилась, полудокументальная, этакий опосредованный ответ «Остроумову...», будет восприниматься как некий повтор. Это-то и вызывало досаду.

Через несколько дней после того, как я узнал о выходе книги Варжапетяна, моя жена ехала из Екатеринбурга, где мы тогда жили, в Москву, и я попросил ее эту книгу привезти.

И вот книга оказалась передо мной...

В предисловии к «„Исповеди антисемита“...» в «ЛЮ» есть сноска, принадлежащая то ли автору, то ли редакции журнала: «Публикуемая повесть – лишь малая часть большой (около полутора тысяч страниц) работы о А.А. (так в журнале. – *Р.С.*) Тинякове».

Помня это замечание, я и ожидал увидеть в книге Варжапетяна эту работу. Пусть не все полторы тысячи страниц, но... А книга оказалась повторением уже опубликованных в 1992–1995 и в 2016 годах статей. Два-три документа исчезли (в том числе и предисловие из «Литературного обозрения»), три-четыре добавились.

Досада исчезла, но и радость тоже.

Повесть «„Исповедь антисемита“...» была событием. Она открыла нам забытый, но яркий скандал эпохи Серебряного века. Она интересна своими документами, ранее (до 1992 года) по большей части неопубликованными или опубликованными до революции. Да и относительно известные документы в сложившемся контексте стали восприниматься иначе. Например, в собрании сочинений Блока 1960-х есть такие строки из записной книжки: «Обедал у нас Ал. Ив. Тиняков – он стоит пятидесяти Левберг и Тумбовских, которых зовет к себе З.Н.Гиппиус». Вроде бы ничего особенного, но, оказывается, Блок принимал у себя Тинякова через несколько дней после открытого (под своей фамилией) возвращения того в «Земщину».

Да, Вардван Варжапетян – первопроходец. Но с тех пор как он как предъявил обществу первые части своего исследования судьбы Тинякова (1992 и 1995 гг.), состоялись по крайней мере четыре издания сборников тиняковских стихотворений, были опубликованы десятки и десятки статей о нем. Достоянием общественности стало множество архивных документов; с 1998 года уголовное дело Тинякова доступно любому человеку.

...Через несколько месяцев после выхода в журнале «Урал» моего рассказа «Дедушка» раздался телефонный звонок – это был Вардван Варткесович Варжапетян. К моему удивлению, он поблагодарил меня

за то, что я написал о Тинякове, сказал, что это интересная личность, а потом спросил: «А где можно прочесть ваш рассказ?» Я назвал номер журнала. «А не подскажете, в Москве я могу найти этот номер?» Первым делом я посоветовал интернет. «Интернетом я, к сожалению, не пользуюсь», – сказал Вардван Варткесович.

Да, он человек немолодой. Может, действительно пропустил, что обнародованные им документы давно пущены в литературоведческий оборот, что опубликовано много нового?

* * *

В свое время я написал рецензию на книгу Вардвана Варжапетяна^[77] и кое-что перенес из нее сюда. По-моему, это вписывается в ткань книги – моей попытки показать и понять Тинякова, исторический период, вернее периоды, в которые он жил. Людей, с которыми он общался или был с ними со-временен. Петербург/Петроград/Ленинград, из которого Тиняков убегал, был высылаем, но неизменно возвращался и в котором умер. И главное – зафиксировать хотя бы часть высказываний, исследований о поэте последних десятилетий. Ведь и интернет не совсем отменил печального правила: газетная статья живет один день. Много появляющееся в интернете со временем исчезает бесследно, будто и не было. И нужно быть настоящим специалистом, таким спелеологом, чтобы отыскать в глубинах сети нужный материал. В общем-то, такие же спелеологи углубляются в пещеры архивных картотек, а то и просто в подвалы с неразобранными папками и коробками.

Открытия, связанные с Серебряным веком и его шлейфом, что протянулся до 1960-х, нас еще несомненно ожидают. Наверняка появится новое и неожиданное об Александре Ивановиче Тинякове. Человек, чье имя есть в полном собрании сочинений Льва Толстого, в собраниях сочинений Бунина, Горького, Блока, кто до сих пор заставляет новых и новых историков литературы, сетевых (и не только) публицистов писать о себе, чьи стихи и восхищают, и ужасают юных девушек, а парней подталкивают читать их как рэп; в общем, тот, кто почти через сто лет после физической смерти становится с каждым годом всё живее (*бессмертным* назвал его Георгий Иванов в 1955 году) и беспокойнее (этаким *беспокойник* из Хармса), не может не преподнести сюрпризы.

Что-то скрывается в тех сложенных конвертиками листах в его уголовном деле, какая-то пока секретная информация, чьи-то, быть может, громкие фамилии. Не исключено, что лежат где-нибудь в энкавэдэшных/кагэбэшных/фээсбэшных закромах те конфискованные у Тинякова «42 тетради с рукописями и выписками из книг; разные выписки; печатные книги. Сочинения Тинякова и дневники 5 шт.».

Я не архивный спелеолог, почти все использованные здесь материалы взяты из так называемых открытых источников. Тешу себя надеждой,

что и они, эти материалы, таким образом скомпонованные, для кого-то станут интересны, станут открытием.

Конечно, Тиняков не положительный герой ни русской литературы, ни повседневной жизни того времени. Я часто его здесь защищал, писал о нем с симпатией. Автору сложно не влюбиться в своего героя, пусть это даже антигерой. Тиняков бесспорно классический маленький человек. Порой жалкий, порой агрессивный. Но вот загадка этого маленького человека Тинякова: без него 1910–1920-е были бы несколько иными.

Популярный в свое время и обласканный Борис Садовский, у которого Александр Иванович несколько лет был на побегушках, наверняка на историю не повлиял, в литературе следа не оставил, посмертно опубликованные его произведения интереса не вызвали; коллеги-современники похоронили Садовского задолго до его физической смерти. А Тиняков – повлиял, вызвал и оставил. И продолжает влиять на наше восприятие прошлого. И не только.

Оспаривать это утверждение разрешаю. На этом ставлю точку.

Краткий список персонажей

Айхенвальд, Юлий Исаевич
Андреев, Леонид Николаевич
Ахматова, Анна Андреевна

Бальмонт, Константин Дмитриевич
Бейлис, Менахем Мендель
Блок, Александр Александрович
Бобров, Сергей Павлович (псевд. Э.П.Бик)
Богомолов, Николай Алексеевич
Брюсов, Валерий Яковлевич
Бунин, Иван Алексеевич

Вагинов, Константин Константинович
Варжапетян, Вардван Варткесович
Волынский, Аким Львович

Гиппиус, Зинаида Николаевна (псевд. Антон Крайний)
Городецкий, Сергей Митрофанович
Горький, Максим
Гумилев, Николай Степанович
Евтушенко, Евгений Александрович
Елисеев, Никита Львович

Есенин, Сергей Александрович
Зощенко, Михаил Михайлович

Иванов, Георгий Владимирович
Ивнев, Рюрик
Игнатъев, Иван Васильевич

Клюев, Николай Алексеевич
Краснова, Нина Петровна
Крюков, Федор Дмитриевич
Кузмин, Михаил Алексеевич

Мандельштам, Осип Эмильевич
Мережковский, Дмитрий Сергеевич
Морев, Глеб Алексеевич

Никольский, Борис Владимирович

Павлович, Надежда Александровна (псевд. Михаил Павлов)
Петровская, Нина Ивановна

Ремизов, Алексей Михайлович
Рукавишников, Иван Сергеевич

Садовский (Садовской), Борис Александрович
Сарнов, Бенедикт Михайлович
Смиренский, Владимир Викторович
Сокол, Евгений Григорьевич
Сологуб, Федор Кузьмич
Тер-Ваганян, Вагаршак Арутюнович
Тиняков, Александр Николаевич (псевд. Одинокый, Герасим Чудаков,
Куликовский, Чернохлебов)
Тиняков, Максим Александрович
Толстой, Лев Николаевич
Тынянов, Юрий Николаевич

Чуковский, Корней Иванович

Хармс, Даниил Иванович
Ходасевич, Владислав Фелицианович

Ширяевец, Александр
Шостакович, Дмитрий Дмитриевич

Энгельгардт, Николай Александрович

notes

Примечания

1

См.: Литературное обозрение. 1992. № 1. С. 12-37; сокращенный вариант: Ной. 1994. № 8. (Здесь и далее примеч. автора.)

2

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. Т. 74. Письма 1903. М.: Гослитиздат, 1954. С. 268.

3

См., например, публикацию о нем орловского краеведа Василия Агошкова «Имение М.А.Тинякова в сельце Вишневец (Архангельское)». URL: <https://proza.ru/2012/04/11/904>.

4

См.: *Самарина И.В.* Журнал «Школьные досуги» А.Тинякова как ключ к повести Ф.Д.Крюкова «Картинки школьной жизни» // Тургеневский ежегодник. 2020. Орел: Орлик, 2020. С. 336-338.

5

Ходасевич В. Неудачники // Ходасевич В. Избранная проза: в 2 т. Т. 1. Белый коридор. Воспоминания. N-Y., 1982. С. 186-188.

6

См.: Александр Тиняков (Одинокий). Стихотворения / подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Н.А.Богомолова. 2-е изд., испр. и доп. Томск – М.: Водолей, 2002.

7

Morituri – идущие на смерть (лат.).

8

Варжапетян В. Смердяков русской поэзии: История первой книги Александра Тинякова в стихах, рецензиях и письмах // Ной. 1995. № 15. С. 168-190.

9

См.: Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика: Исследования и материалы. М., 2013. С. 243-254.

10

Богомолов Н.А. Письма З.Н.Гиппиус к А.И.Тинякову // Литературный факт. 2016. № 1-2. С. 41-82.

11

Иванов Г. Петербургские зимы // Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М., 1994. С. 78-80.

12

См.: Колкер Ю. Письма В.Ф.Ходасевича А.И.Тинякову // Континент. 1987. № 50. С. 353-370.

13

См.: Поликовская Л. Есенин. Русский поэт и хулиган. М.: Вече, 2014. С. 35.

14

См.: Пряник осиротевшим детям: сб. в пользу убежища о-ва Детская помощь. Пг., 1916.

15

См.: De Visu. 1993. № 10. С. 71-79.

16

См.: Rhema. Рема. 2020. № 4. С. 135-162.

17

См.: URL: <https://lucas-v-leyden.livejournal.com/173677.html?noscroll#comments>.

18

См.: Последние новости (Петроград). 1923. 17 декабря.

19

Ходасевич В. Неудачники. С. 188-189.

20

Иванов Г. Невский проспект. Последние новости (Париж). 1927. 17 февраля.

21

См.: Печать и революция. 1923. Кн. 1. С. 219.

22

См.: Александр Тиняков. Треугольник. Изд. «Поэзия». Стр. 75. Петер. 1922 [Рец. М.Павлова] // Книга и революция. 1922. № 8 (20). С. 41–42.

23

См.: Тютчев. Сборник статей. Сост. Алекс. Тиняков, Редакция Волынского «Парфенон». Стр. 111. Петер. 1922. Тираж 1500 экз. [Рец. Т.Б.] // Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 52.

24

См.: Последние новости (Петроград). 1923. № 1. 2 января.

25

См.: *Тиняков А.* Русская литература и революция. Гос. изд-во, Орловск отд., 1923. С. 3, 11–12, 22, 25, 43.

26

Витковский Е. «Жизнь, которая мне снилась» // Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 1. С. 37–38.

27

См.: *Тиняков А.* Ego sum qui sum (Аз есмь сущий): третья книга стихов. 1921–1922. Л.: изд. автора, 1925.

28

См.: Смехач: еженедельное издание. 1927. Август. № 31. С. 10.

29

Морев Г. «Нет литературы и никому она не нужна»: К истории писательского самоопределения в России: 1917–1926 // Гефтер. 2018. 21 февраля. Цит. по: URL: <http://gefter.ru>.

30

О пересечениях – человеческих и литературных – Ахматовой и Тинякова см.: *Тименчик Р.* Из Именного указателя к Записным книжкам Ахматовой: Два персонажа из богомоловского списка // Литературный факт. 2021. № 1(19). С. 362–381.

31

Чуковский К. Дневник 1901–1929. М., 1991. С. 389.

32

Чуковский К. Дневник 1901–1929. С. 287–289.

33

См.: *Лукницкий П.Н.* Асуміана: Встречи с Анной Ахматовой. Т. 2. 1926–1927. М., Париж: Умса-Press; Русский путь, 1997.

34

Письмо Витязеву от 11 января 1929 г.

35

Гронский И.М. О крестьянских писателях // Минувшее: исторический альманах. М.; СПб., 1992. Вып. 8. С. 139–176.

36

См.: *Куняев С.* Николай Клюев. М.: Молодая гвардия, 2014. (ЖЗЛ).

37

Кошечкин С. Весенней гулкой ранью... Этюды-раздумья о Сергее Есенине. М., 1984.

38

Тимофеев А.Г. Материалы М.А.Кузмина в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Некоторые дополнения) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 55.

39

См.: Николай Энгельгардт из Батищева. Эпизоды моей жизни (Воспоминания) // Минувшее. Т. 24. СПб.: Atheneum; Феникс, 1998. С. 7–119.

40

См.: URL: <http://region.oryol.ru/history/tin.shtml>.

41

Обозрение Сергея Костырко. № 123. Зима – весна 2004. (Цит. по: URL: <http://subscribe.ru>.)

42

Иванов Г. Петербургские зимы. С. 179–180.

43

См.: Летопись жизни и творчества С.А.Есенина: в 5 т. Т. 2. 1917–1920. М., 2005. С. 30–31.

44

Иванов Г. Человек в рединготе // *Иванов Г.* Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. С. 407.

45

Ходасевич В. Есенин // *Ходасевич В.* Некрополь: Воспоминания; Литература и власть; Письма Б.А.Садовскому. М., 1996. С. 130.

46

См.: *Ширяевец А.* Из переписки 1912–1917 гг. // *De visu*. М., 1993. № 3 (4). С. 30–31.

47

Клюев Н.А. Четвертый Рим // Клюев Н.А. Словесное древо. СПб.: Росток, 2003. С. 60.

48

Есенин С. Письмо Ширяевцу А.В., 24 июня 1917 г. Константиново // Есенин С.А. Полное собрание сочинений: в 7 т. 2-е изд. Т. 6. Письма. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 96-97.

49

См.: Роман Аренский [З.Н.Гиппиус]. Земля и камень // Голос жизни. 1915. № 17. С. 12.

50

См. об этом в «Воспоминаниях о Есенине» Анатолия Мариенгофа и письме Есенина Н.Н.Ливкину 12 августа 1916 года.

51

См.: Ширяевец А. Из переписки 1912-1917 гг. С. 29.

52

Иванов Г. Петербургские зимы. С. 82.

53

См.: Богомолов Н.А. Письма З.Н.Гиппиус к А.И.Тинякову. С. 52-53.

54

См.: Голос жизни. 1915. 6 мая. № 19. С. 19-20.

55

От лат. Nomina sunt odiosa – имена ненавистны.

56

Тиняков А. Борис Садовской. «Лебединые клики». К-во бывш. М.В.Попова. Петроград (1915) // Речь. 1915. 7 (20) сентября. № 246 (3269). С. 3-4.

57

См. *Куняев С.* Николай Клюев. М.: Молодая гвардия, 2014. (ЖЗЛ).

58

См.: *Ивнев Р.* О Сергее Есенине // Ивнев Рюрик. Часы и голоса. М.: Советская Россия, 1978. С. 144-201.

59

См.: *Баранов В.С.* Сергей Есенин. Роман с Петроградом: Роман-хроника в документах и воспоминаниях. Самара: Русское эхо, 2009.

60

Чуковский К. Зощенко // Чуковский К. Современники. Портреты и этюды. М.: Молодая гвардия, 1962. (ЖЗЛ). С. 520-522.

61

Зощенко М. Перед восходом солнца // Зощенко М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. М.: Время, 2008. С. 233-237.

62

Свидетельство: Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым / обратный перевод с англ. N-Y., 1979. С. 231-232.

63

Зощенко М. М.П.Синягин (Воспоминания о Мишеле Синягине) // Зощенко М. Сентиментальные повести. М.: Время, 2008. С. 312-313.

64

Чуковский К. Зощенко. С. 523.

65

Котова М. К истории отношений А.Тинякова и М.Зощенко // Лесная школа: Труды VI Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2010. С. 122-123.

66

Раневская Ф. Судьба-шлюха / авт. – сост. Д.А.Щеглов. М.: Олимп – АСТ, 2002. С. 66.

67

Смиренский В. Писатель-нищий // Иллюстрированная бытовая газета. 1929. № 135. 5-8 июля. С. 6.

68

Хармс Д. Записная книжка 20. Июнь – ноябрь 1930 г. // Хармс Д. Полное собрание сочинений. Записные книжки; Дневник. Кн. 1. СПб., 2002. С. 378.

69

См.: *Хармс Д.* Рыцарь // Полн. собр. соч. Т. 2. СПб., 1997. С. 61-64.

70

См.: *Сарнов Б.* Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко. М.: Культура, 1993. С. 13-17, 189-194, 364-365.

71

См.: Вопросы литературы. 1998. № 1. С. 117-133.

72

См.: Новый мир. 1998. № 7. С. 200–210.

73

См.: Лесная школа: Труды VI Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. С. 109–120.

74

Вернее, фрагмент воспоминаний «Невский проспект».

75

См.: *Лекманов О.* О том, как встретились два одиночества // Литература. 2003. № 47. С. 7–9.

76

«Железку» – поясняет Вардван Варжапетян. Так называли карточную игру бокарра.

77

См.: Новый мир. 2020. № 4. С. 210–213.